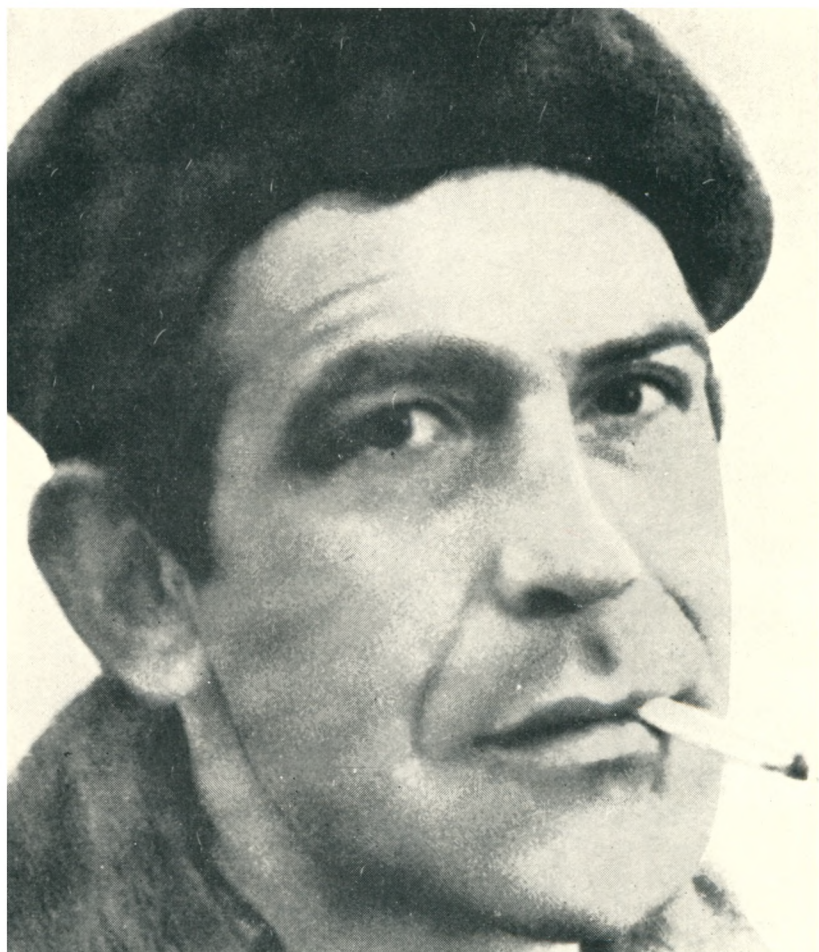


НИКОЛАЙ ДРЖАК

ГОВОРИТ
МОСКВА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





Юлий Даниэль — Николай Аржан

НИКОЛАЙ АРЖАК

ГОВОРИТ МОСКВА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

- ГОВОРИТ МОСКВА
- РУКИ
- ЧЕЛОВЕК ИЗ МИНАП'а
- ИСКУПЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ СОДРУЖЕСТВО
INTER-LANGUAGE LITERARY ASSOCIATES

1966

Вступительная статья и послесловие Бориса Филиппова

Рисунок обложки работы Николая Сафонова

**Copyright by INSTITUT LITTERAIRE, 91, avenue de Poissy,
Maisons-Laffitte (S.-et-O.), France**

All rights reserved

Printed in U.S.A. by WALDON PRESS INC., New York, N. Y.

**Reproduced and Printed in Great Britain by
Redwood Press Limited Trowbridge & London**

БОРИС ФИЛИППОВ

СВОБОДА ПОДНЕВОЛЬНОГО

В России нет свободы печати — но кто скажет,
что в ней нет и свободы мысли?

Александр Есенин-Вольпин

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем...

Анна Ахматова

Осудили. Печать улюлюкала. Протесты Запада, в том числе и протесты западных писателей-коммунистов, остались, в сущности, без ответа. На суде отклонили показания и ряда советских писателей. Когда на суде над Синявским-Терцем и Аржаком-Даниэлем судья бросил Даниэлю упрек: «Ваши допущения идут от одного политического образа к другому», — Даниэль с мужественным достоинством ответил: «О том, о чем я пишу, молчат и литература и пресса. А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем».

Да, и п о л и т и к а входит составной частью в творчество Аржака. Ведь каждый живет в обществе, каждый дышит воздухом своей эпохи и своего народа. И Даниэль на суде прямо говорил об этом, называя даже ту эпоху, к которой относятся его произведения: годы Сталина и годы Хрущева, как потенциального претендента в новые отцы народа. Он прибавлял при этом, что многие произведения советских авторов послесталинской эпохи, опубликованные в советской печати, в какой-то мере идут даже дальше его, Аржака, в деле разоблачения последствий к у л ь т а л и ч н о с т и. И только избегают некоторых тем и приемов письма, «а в жизни общества не может быть закрытых тем».

Но перед автором стояли задачи, идущие несравненно дальше, а, главное, глубже, чем в обычных и привычных продуктах производства советского литературного цеха. Отнюдь не изготовление подкрашенных картинок для элементарного учебника советского (или антисоветского) обществоведения. Нет, разными средствами, разными литературными приемами, но Аржак стремится всегда к одной, по существу, основной задаче: наиболее полному и яркому раскрытию в н у т р е н н е г о человека, всегда и повсюду живущего в каждом из нас «человека из подполья». В этом Аржак — прямой наследник основной линии русской литературы — Гоголя, Достоевского, Розанова. Конечно, язык, приемы письма, смелость мысли Аржака не имеют ничего общего с убогим и отставшим на двести лет от общеевропейского развития литературы дифирамбическим социалистическим реализмом.

Уже наиболее несовершенный художественно, самый ранний по времени написания, рассказ «Руки» — интересный психологический этюд. Автор отнюдь не становится в позы обличителя, моралиста. От всяческих оценок отказывается раз и навсегда. Просто изнутри, сло-

вами самого героя рассказа (прием, применяемый автором во всех его произведениях), — рисует душевное состояние палача по партназначению: «Работка не так, чтобы трудная, а и легкой не назовешь». И образ искреннего твердокаменного коммуниста, низового партийного работника вылеплен крепко, уверенной художнической рукой. Ну, тяжко. Ну, противно. Без большой водки и обойтись нельзя. Но навеки вколочен, как «Отче наш», незыблемый принцип: «Н-а-д-о. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». И автор не осуждает: он жалеет своего героя. Рассказ был бы совсем хорошим, если бы не концовка его: «рационалистическое» объяснение произошедшего, отнюдь художнически не убедительное.

Любопытно, что и прокурор, и судья, и общественные обвинители от союзов советских писателей СССР и РСФСР ставили в вину Аржаку-Даниэлю... яркость и художественность этого рассказа. В своем заключительном слове на процессе Даниэль недоумевал: «Кедрина сказала: 'Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела'. Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности»...

«Говорит Москва» — это отнюдь не фантастический реализм. Скорее, его можно назвать реализмом экспериментальным. «Меня увлекло, — рассказывал Аржак-Даниэль на процессе, — что при фантастическом допущении — День открытых убийств — можно показать психологию и поведение людей. ...В 1960-61 гг., когда была написана эта повесть, я — и не только я, но и любой человек, серьезно думающий о положении в нашей стране, — был убежден, что страна находится накануне вторичного установления нового культа личности. Со смерти Сталина прошло не так уж много времени. Мы все хо-

рошо помнили то, что называется 'нарушениями социалистической законности'. И вот снова я увидел все симптомы: снова один человек знает всё, снова возвеличивается одна личность, снова одна личность диктует свою волю и агрономам, и художникам, и дипломатам, и писателям. Мы видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя, как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится нам, как откровение, как квинт-эссенция мудрости... И действительно: если допустить, что свыше объявлен День открытых убийств, то все течение событий, поведение людей, их взаимоотношения, их рассуждения — абсолютно реальны и ничем не отличаются от течения событий во время любой советской кампании. «Через день в 'Известиях' появилась большая редакционная статья 'Навстречу Дню открытых убийств'. В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: 'Растущее благосостояние — семимильными шагами — подлинный демократизм — только в нашей стране все помыслы — впервые в истории — зримые черты — буржуазная пресса...' Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи — привычно-торжественный, буднично-высокопарный — внес успокоение. Ничего особенного: 'День артиллерии', 'День советской печати', 'День открытых убийств'... Транспорт работает, милицию трогать не велено — значит порядок будет. Все вошло в свою колею». И, как это чаще всего бывает, и эта очередная кампания не принесла заметных, ощутимых результатов. К ней, в общем, отнеслись инертно. Даже личные счеты чаще всего не свели. Ужасное, преступное, клеветническое утверж-

дение, невероятное экспериментальное утверждение (так говорили на процессе и прокурор, и судья, и общественные обвинители)? Нет, почему же: Даниэль на процессе резонно возражал, указывая, «что возможно повторение страшных времен культа Сталина, что это может повториться. А тогда... происходили события куда более страшные, чем описано у меня — массовые репрессии, высылка и уничтожение целых народов. Описанное мною по сравнению с этим — детские игрушки»...

И что же: привычные ко всему советские люди оказались много, много лучше, чем предполагалось: День открытых убийств, вся эта грандиозная кампания сорвалась. Но показ психологии персонажей рассказа, показ их реакции на новое постановление, показ их поведения — подлинный, высокий реализм. Экспериментальный метод автора позволил обострить все ситуации, показать жизнь под новым и неожиданным углом зрения. И — вопреки мнению шемякина суда, осудившего писателей на каторгу, — следует сказать, что советские люди показаны в повести скорее благожелательно, отнюдь не карикатурно.

«Человек из МИНАП'а» — также написан в плане экспериментального реализма. И вовсе не такого уже фантастического. Ведь вопрос о планировании деторождения, даже об определении не только пола, но и способностей зарождаемого нового гражданина — вопрос, серьезно обсуждаемый современной наукой. Ну, прозаик, конечно, не биолог-генетик, не врач — его способ показа явлений иной. На суде Даниэль говорил по поводу этого рассказа: «Нет никаких оснований говорить, что рассказ направлен против морали и этики советского общества. Почему я его написал? Среди моих друзей много ученых, один из них мне рассказал о шумихе вокруг Башьяна и Лепешинской (я не равняю эти два имени), рассказал, что сенсации нанесли вред нашей науке. По поводу этой

шумихи, а не по поводу этой науки и был написан этот рассказ». Заметим, кстати, что Ольга Борисовна Лепешинская — явление того же порядка, что и Т. Д. Лысенко, кстати написавший основную монографию о Лепешинской.

Наиболее значительным произведением Аржака-Даниэля является, несомненно, «Искупление». Идея ответственности каждого человека за поступки всех людей — и ответственности всех за каждого — одна из краеугольных идей большой русской литературы. И уже повесть «Говорит Москва» заканчивалась у Аржака знаменательными словами: «Я иду и говорю себе: 'Это — твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других'. И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность. Это — говорит Москва». Эта идея — ответственности всех за каждого и каждого за всех, ответственности не только за содеянное, но и за то, что человек или общество не помешали сделать злс, воздержались — основной стержень «Искупления»: «Вы действительно ничего не понимаете... Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых, — и это самое главное — вы виноваты в том, чего не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы абортс — начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш». И ряд героев повести мучит не то, что они сделали, а то, «что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие». И искупление — в том, чтобы безвинно принять на себя всю тяжесть незаслуженного обвинения — и незаслужен-

ного наказания. И эта идея — не только идея персонажей «Искупления»: в своем последнем слове на суде Даниэль сказал, что написал эту повесть потому, что считает, «что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе».

Разве это — клевета на ту или иную действительность, хотя бы и советскую? Ведь это — исконная идея всей христианской, всей европейской культуры. Ведь Даниэль-Аржак прямо говорит не о социально-политических условиях того или иного времени — они служат ему только фоном, только конкретным материалом для лепки образов и обстановки их действий. Аржак рисует внутреннего человека, говорит о том, что свобода и рабство — внутри нас самих, если и зависят, то отнюдь не в столь значительной степени, как мы полагаем, от внешних факторов: «Товарищи! Они продолжают нас репрессировать! Тюремь и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. ...Погодите, куда вы? Не убегайте! Все равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!»

Только обретя внутреннюю свободу, человек становится поистине свободным. Вольный или подневольный внешне — он свободен по-существу. От самого себя не убежишь. От внутреннего рабства не избавишься ничем извне.

Заключенный Аржак-Даниэль внутренне свободнее своих судей. Он обрел ту внутреннюю свободу, которая только и может быть залогом подлинной творческой свободы. Он обрел подлинную свободу духа, свободу мысли, свободу-совесть: он всею душою понял ту древнюю, но вечно новую истину, что подлинная личная свобода, сво-

бода, творящая жизнь — есть и с к у п л е н и е. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

И гордо, независимо, поистине человечно звучат последние слова автора «Искупления» на суде: «Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ. Это всё. Я готов выслушать приговор».

ГОВОРИТ МОСКВА

— Мяу! — это плачет маленький котенок.
— Мяу! — он еще мяукать не умеет.
Одинокством безмерно угнетенный,
Он тоскливо бродит меж скамеек.

Рядом грубые, нескромные, большие
На скамейках восседают люди.
Словно псы, кругом рычат машины.
Он боится. Как же дальше будет?

На его на жалкий интеллект кошачий
Неожиданность нечаянно свалилась.
— Мяу! — кот раскрепощенный плачет.
— Объясните! Окажите милость!..

Что ж, он возмужает в странствиях суровых,
Он украсится ногтями и клыками,
Как стеклом разбитых поллитровок,
Засверкает женскими зрачками;

Он оставит «мяу». Скажет в полный голос,
Что вцепиться сможет в каждого громилу;
А пока что — сердце расколосось,
А пока что — «Мяу... мяу... мяу...»

Илья Чур. «Московские бульвары».

I

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстано-
вить события минувшего лета, мне очень трудно
привести мои воспоминания в какую-то систему,

связно и последовательно изложить все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда это началось, я запомнил очень хорошо, до мельчайших деталей, до пустяков.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю, крепко выпили, шумели допоздна и, наконец, улеглись в полной уверенности, что проспим до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусиках по аллеям, подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя как всем было известно, по утрам он никогда не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье. Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч и лодка; какой-то зарвавшийся энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

— Очень хорошая церковь, — сказал он, — очень старая, не помню, какого века...

Но его высмеяли — никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.

Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-тридцатипятилетние мужчины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не заменять друг у друга всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся лысинки у мужчин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали

друг друга давно, нам были знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном виде — этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой эlegantный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживиц в своей академии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задками к стульям, жалко выглядевшим на траве, и говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

— Братцы, — сказала она, — я ничего не понимаю.

— А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.

— Я ничего не понимаю, — повторила она, жалобно улыбаясь, — радио... По радио передавали... Я самый конец услышала... Через десять минут снова передавать будут.

— Очередное, — дикторским басом сказал Володька, — двадцать первое по счету снижение цен на хомуты и чрезседельники...

— Идите в дом, — сказала Лиля. — Пожалуйста...

Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.

— Паровозные вздохи, — сострил Володька. — А что, здорово сказано? Прямо ильфо-петровский эпитет.

— Лилька, брось нас разыгрывать, — начал Игорь. — Я знаю, тебе скучно одной посуду мыть...

И в это время радио заговорило.

— Говорит Москва, — произнесло оно, — говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием...

Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только Лиля суетилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону репродуктора.

— ...навстречу пожеланиям широких масс трудящихся...

— Володя, дайте мне спички, — сказала Зоя. На нее шикнули. Она пожала плечами и, уронив в ладонь не зажженную сигарету, отвернулась к окну.

— ...объявить воскресенье 10 августа 1960 года...

— Вот оно! — крикнула Лиля.

— ...Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут. Примечания. Пункт первый. Запрещается убийство: а) детей до 16-ти лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в) работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт вто-

рой. Убийство, совершенное до или после указанного срока, равно как и убийство, совершенное с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного . . .

Потом радио сказало:

— Передаем концерт легкой музыки . . .

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.

— Странно, — сказал я, — очень странно. Непонятно, к чему бы это.

— Объяснят, — сказала Зоя. — Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.

— Товарищи, это провокация! — Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. — Это провокация. Это «Голос Америки», они на нашей волне передают!

Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.

— Ох, извините! — Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.

— «Голос Америки»? — задумчиво переспросил Володька. — Нет, это невозможно. Технически невозможно. Вездь сейчас, — он взглянул на часы, — половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое . . .

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на ее обтянутые купальником бедра, на

грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза ее называли «Мадам Флегма».

Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стучачей среди нас вроде не должно было быть.

— Отчего мы, собственно, всполошились? — бодро сказал он. — Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?

— А черт его знает, — пробормотал я. — Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.

— Ладно, — Игорь потрянул головой. — Я думаю, это все связано с международной политикой.

— С президентскими выборами в Америке? — Да Игорек?

— Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Чорт-е что несешь!

— Идемте купаться, — сказала Зоя, поднимаясь. — Толя, принеси мою резиновую шапочку.

Очевидно, вся эта неразбериха даже ее выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на «ты». Но этого, кажется, никто не заметил.

Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:

— Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то на-
счет евреев замышляют . . .

II

Ну, кто бы смог, ну, кто бы вынес,
Когда бы не было для нас
Торговли масками на вынос
На каждый день, на каждый час?

Рядись лифтером и поэтом,
Энтузиастом и хлыщом,
Стучись в окошко за билетом,
Ори! Но не забудь при этом
Что «Вход без масок воспрещен».

Илья Чур. «Билеты продаются».

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво — печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же все-таки произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать

пять лет. Я попрежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шопотом: «Ой, что это у тебя?» «Это ранение, — говорю я, — рубец от разрывной.» «Бедный, — говорят они, — это было очень больно?» В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: «Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!» Но ведь я-то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу — к случаю; написал несколько театральных рецензий — думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я все-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:

«И черной Африкой роаяль
По-негритянски зубы скалит» —

— и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекнет. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры

и вообще сволочи — и это напишу . . . Я могу позволить себе эту роскошь быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я все-таки надеюсь, что у меня будут читатели — не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем — «когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный . . .» И думать об этом приятно.

Ну, вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.

Веселья у нас в тот день так и не получилось. Остроумно скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый треп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: «Ну, что вы обо всем этом думаете?» Я промямлил что-то вроде: «Не знаю . . . там видно будет . . .» — и на том разговоры прекратились.

Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу Дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «Растущее благосостояние — семимильными шагами» — подлинный демократизм — только в нашей стране все помыслы — впервые в истории — зримые черты — буржуазная пресса . . .» Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взры-

вы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи — привычно-торжественный, буднично-высокопарный — внес успокоение. Ничего особенного: «День артиллерии», «День советской печати», «День открытых убийств» . . . Транспорт работает, милицию трогать не велено — значит порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появились люди, которые подходили к другим и заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок — словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А другие — особенно молодежь — стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати насчет стихов. «Литература и жизнь» дала подборку стихотворений о предстоящем событии — Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько не пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,
Фабричные пели гудки,
Великая партия наша
Троцкистов брала за грудки.

Мне было в ту пору семнадцать,
От зрелости был я далек,
Я в людях не мог разобраться,
Удар соразмерить не мог.

И, может, я пел тогда громче,
Но не был спокоен и смел:
Того, пожалев, не прикончил,
Другого добить не сумел . . .

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о развертывании творческой инициативы народных масс — ну, и так далее, в обычном духе.

— Понимаешь, Толька, — сказал он, — хотя я и знал, что Игорь — карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.

— А почему? — спросил я. — А что тут особенного? Поручили выступить — он и выступил: был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

— Я? — Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых . . .

— Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время дела врачей не трепался о национализме?

Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его больное место. Он простить себе не может, что на какое-то время тогда поверил газетам.

— Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой. — сказал я примирительно. — Ты ее давно видел?

Володька оживился.

— Понимаешь, Толя, трудно я люблю, — сказал он, — трудно. Я ей вчера позвонил, говорю, что хочу ее видеть, а она отвечает . . .

И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей сказал, что они оба сказали.

— Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не сентиментальный, но тогда я чуть не заревел . . .

Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте. Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист района и, в общем-то, умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от такой жены на любую бабу кинешься. Ну, и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания, страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: «нравственные обязательства», «душевная раздвоенность», «она в меня верит» . . . Кстати, «она в меня верит», говорится и о жене и об очередной пассии. Нет, я на все это проще смотрю. С самого начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А — а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну, и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володькиными проблемами, я просто буду сообщать заранее: «Я, знаете ли, женат, разводиться не собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы встретимся? Не

подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте все-таки . . .» Вот так. Ну, разумеется, не так примитивно. И, по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, «конечно, я свою жену уважаю, но . . .» Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить иллюзии на свой счет . .

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его, но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шопотом, чтобы соседи не услышали:

— Толя, а если 10 августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр, не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офицерского ТТ, сбереженного им с военных лет.

— Они меня задешево не возьмут . . .

Когда он окончательно ушел, я долго стоял посреди комнаты. Кто «они»?

III

Нет, Алкиной, ты не прав: есть бесконечность в
природе:
Служит примером тому глупость и подлость людей.

Кирилл Замоиский. «Опыты и поучения».

— Ах, Толя, вы просто не хотите рассуждать всерьез! Вы поймите такую простую вещь . . . :

Мой сосед по квартире намывливал мочалкой грязную посуду; брюхо поросшее седьми волосами, туго обтянутое сеткой выпирало из штанов, ложилось на край рукописи. Он ужасно горячился, хотя я ни словом не возражал ему.

— . . . нет, нет, поймите меня правильно! кто-кто, а уж я-то не поклонник газетных штампов. Но факты есть факты, и надо смотреть им в глаза . . . Сознательность-то действительно выросла! Эрго: государство вправе поставить широкий эксперимент, вправе передать отдельные свои функции в руки народа! Вы посмотрите — бригады действия милиции, комсомольские патрули, народные дружины по охране общественного порядка — это же факт! И факт многозначительный. Разумеется, и у них случаются ошибки, так сказать, ляпсусы, — узкие брюки порезали, девиц каких-то обстригли — так ведь без этого не бывает! Издержки производства! Лес рубят! И теперешний Указ это не что иное, как логическое продолже-

ние уже начавшегося процесса — процесса демократизации. Демократизации — чего? Демократизации органов исполнительной власти. Идеал же, поймите меня правильно — постепенное растворение исполнительной власти в широких народных массах, в самых, так сказать, низах. То-есть, не в низах, я не так выразился, какие у нас низы, ну, вы меня понимаете . . . И поверьте моему слову, слову старого юриста — передо мной сотни, тысячи, десятки тысяч людей прошли — поверьте моему слову: народ в первую очередь сведет счеты с хулиганами, с тунеядцами, с отбросами общества . . . Да-да, помните, как у Толстого: «Всемирном навалиться хотят! Один конец сделать хотят!» Вот именно, Толя, — «всемирном», общиной, так сказать, «обществом», по-русски . . .

Я с нетерпением ждал, когда он выронит скользкую тарелку, и он, наконец, кокнул ее. На шум выплыла из комнаты его жена, неодобрительно посмотрела на осколки и на меня и сказала ровным голосом:

— Петр, иди в комнату.

— «Мало тебя, дурака, в лагере держали», — подумал я вслед ему и пошел открывать на звонок.

Вошла Зоя.

Мы прошли в мою комнату, и Зоя, облегченно вздохнув, сбросила туфли. Я люблю смотреть, как женщины снимают туфли, меняется форма ноги, линия сразу становится интимной, домашней, какой-то простодушной.

— Ты в белых тапочках, — сказал я, указывая на ее незагорелые ступни. — Покажи, где ты еще белая.

— Я хотела с тобой поговорить, — ответила она, — ну, ладно, потом . . .

Я обнял ее.

— Запри дверь, — сказала она.

. . . Мы лежали рядом, чуть отодвинувшись друг от друга. Кожа у Зои была прохладной, несмотря на жару; ее светло-коричневое тело было трижды опоясано белыми лентами: на груди, на бедрах и на ступнях. Она лежала рядом со мной, свободно и бесстыдно раскинувшись, прекрасная и сверкающая, как клоун на манеже, и я чувствовал, что очень люблю ее. И мне хотелось также свободно и бесстыдно подмигнуть кому-то, какому-то воображаемому наблюдателю и, может быть, соучастнику, и сказать ему: «Посмотри, дружище, какая мне женщина досталась!» Я лежал и думал, что, вероятно, происходящее между нами и называется «жизнью»: борьба, завоевание, взаимная капитуляция, утверждение и яростное отрицание, пронзительное ощущение себя и полное растворение отчуждения и слияния — все вместе, все одновременно. И мне было в эту минуту безразлично, что она замужем, что этой умной, покорной, постоянно ждущей плотью владею не я один, что у нее есть муж, ласкающий ее на законных основаниях, что через месяц вернется с курорта моя сестра, и Зоя уже не сможет приходить ко мне, что нам снова придется, как бездомным котам, лазать по всяким чердакам и подъездам, что снова я буду удивляться и даже чуть-чуть шокироваться ее способностью отдаваться в самых неподходящих условиях, и я снова буду ей за это очень благодарен, и сейчас мне было безразлично все это. Я лежал и ждал, когда она заговорит.

И она заговорила.

— Толя, — сказала она. — Скоро «День открытых убийств».

Она произнесла эти слова очень просто и деловито, как если бы сказала: «Скоро Новый год», или «Скоро Майские праздники».

— Ну, и что же? — спросил я — какое это к нам имеет отношение?

— Разве тебе не надоело прятаться? — спросила она. — Ведь мы можем все переменить.

— Я не понимаю, — пробормотал я. Но я врал — я уже все понял.

— Давай убьем Павлика.

Она так и сказала: «Павлика». Не «мужа», не «Павла», а именно «Павлика». Я почувствовал, как у меня деревенеют губы.

— Зоя, ты в своем уме? Что ты говоришь?

Зоя медленно повернула голову и потерлась щекой о мое плечо.

— Толинька, не волнуйся только, ты только подумай спокойно. Ведь другого такого случая не будет. Я уже все обдумала. Ты придешь к нам накануне. Скажешь, что хочешь провести этот день у нас. Ведь мы с Павликом решили никуда не выходить и мы это сделаем вдвоем с тобой. А потом ты переедешь ко мне. И мы поженимся. Я бы не стала тебя впутывать в это, я бы сама все сделала, но я просто боюсь не справиться.

Она говорила, а я лежал и слушал, и каждое ее слово, как мгновенное удушье, хватало меня за горло.

— Толя, ну, что же ты молчишь?

Я прокашлялся и сказал:

— Уходи.

Она не поняла.

— Куда?

— К чорту, — сказал я.

Зоя несколько секунд смотрела мне в глаза, потом встала и начала одеваться. Она надела лифчик, потом трусики, потом комбинашку. Я следил за тем, как она скрывается под одеждой. Она накинула платье, сунула ноги в туфли и стала причесываться.

Причесавшись она взяла сумочку и отперла дверь. На пороге обернулась и сказала негромко:

— Слякоть.

И ушла. Я слышал, как щелкнул замок входной двери.

Я встал и оделся. Я аккуратно застелил развороченную постель. Я подмел в комнате. Я сделал много движений, сосредоточиваясь на каждом из них. Мне очень не хотелось думать.

IV

Я их ненавижу до спазм,
До клекота в горле, до дрожи;
О, если собрать бы, да разом
Всех этих блядей уничтожить!..

Георгий Болотин. «Трубы времени».

А думать все-таки пришлось. Может быть, это глупо, но больше всего меня ошеломило брошенное Зоей словечко «слякоть»: ведь я не трус, я

это знаю, я убедился в этом и на фронте, да и после войны бывали всякие случаи. А Зоя решила, что я трусил. Да нет, какая там трусость, просто это же дико: взять и убить Павлика, безропотного, кроткого, ничего не замечающего Павлика. Ну да, мы обманывали его; если бы он узнал о нашей связи, он бы, конечно, страдал; мы пили на его деньги. мы смеялись над ним в глаза и за глаза; все это так — но убить? За что? и зачем? Ведь если на то пошло, если дело только в том, чтобы выйти за меня замуж, то она могла бы и развестись?! Значит . . . , убийство — не просто средство избавиться от нелюбимого, глуповатого и пожилого мужа? Значит, для нее в убийстве есть какой-то непонятный для меня смысл? Может быть, она его ненавидит, мстит? Ну, конечно, она мстит за то, что в свое время, в пятнадцать лет, влюбилась в него, а он только и умеет, что говорить: «Техника на грани фантастики», «Ключ от квартиры, где деньги лежат» — да рассказывать еврейские и армянские анекдоты . . . Она не в состоянии не ненавидеть его. Ну, конечно, если ненавидит, то может и убить. Это-то я понимаю. Ненависть дает право на убийство. Ненавидя я и сам могу . . . Могу? Ну, разумеется, могу. Безусловно, могу. Кого я ненавижу? Кого я ненавидел за всю свою жизнь? Ну, школьные годы не в счет, а вот взрослым? Институт. Я ненавидел одного из преподавателей, который четыре раза подряд нарочно срезал меня на зачете. Ну, ладно, чорт с ним, это было давно. Начальство разных мастей, с которым мне довелось работать. Да, это были подлецы. Они изрядно попортили мне кровь. Морду бы им набить, сволочам. Кто еще? Писатель К., пишущий черносотенные романы. Да, да, я помню, как я говорил, что убил бы его, если

бы знал, что мне за это ничего не будет. О, его мерзавца, стоило бы проучить! Да так, чтоб он больше никогда к перу не прикоснулся... Ну, а эти, толстомордые, заседающие и восседающие, вершители наших судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от Президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоники и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты еще помнишь как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь... Вот они лежат, — искромсанные взрывом, изрешеченные пулями. Скользко: ноги скользят. Кто это? Ползет, волоча за собой кишки по паркету, усыпанному штукатуркой. А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает Главного в поездах! А почему он такой худой? Почему на нем ватник? Я его уже видел один раз, как он полз по грейдеру, вывалив в пыль синеву и красноту своего живота. А эти? Я их видел? Только тогда на них были пояса с надписью «Готт мит унс» на пряжках, фуражки с красными звездами, сапоги с низким подъемом, прямой наводкой, обмоткой, пилоткой, русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры,

бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты, по трупу прошел студебеккер, два студебеккера, восемь студебеккеров, сорок студебеккеров, и ты так же будешь лежать, распластанный, как лягушка, — все это уже было! . .

Я встал с постели, подошел к окну и вытер занавеской залитое потом лицо. Потом я пошел на кухню, умылся над раковиной и надел пиджак. Дома я больше оставаться не мог.

Я шел по улице, раскаленной августовским солнцем; навстречу мне шли домохозяйки с авоськами, мальчишки оглушительно жужжали подшипниками самолетов, потные пожилые мужчины брели по тротуару, останавливаясь возле каждого киоска с газировкой. Я вышел на угол Арбата и Смоленской площади и остановился. Хорошо бы в гости к кому-нибудь. К кому? Лето, все на дачах. А кто не на даче, тот наверняка в Серебряном бору или еще где-нибудь, где купаются. И хорошо бы выпить. Я вспомнил, что недалеко, по дороге к Киевскому вокзалу живет Саша Чупров, художник, мой приятель. Если я даже не застану его дома, я все равно посижу там: дверь его комнаты никогда не запиралась.

Я зашел в угловой «Гастроном» и побрел по залам, отыскивая винный отдел. Я подходил к прилавкам и смотрел, как работают продавцы. В своей магазинной униформе, они были все похожи друг на друга, но держались по-разному: деловито и солидно в колбасном отделе, равнодушно и надменно во фруктовом, кокетливо и услужливо в кондитерском, бестолково и суматошно в бакалее. В винном отделе, до которого, наконец, я добрался, они были снисходительны и чуточку фамильярны. Я стоял и разглядывал вертушку с

бутылками, конусом возвышающуюся возле колонны. Здесь хранились эмоции. Разлитые по бутылкам, прихлопнутые сверху сургучем, они были снабжены случайными этикетками: «Коньяк», «Столичная», «Гурджани»; а на самом деле туда загнали меланхолию, веселье, необузданный гнев, трогательную доверчивость, обидчивость и отвагу. Эмоции ждали своей поры. Они должны были выйти на свет из своих стеклянных тюрем, услышать глупые напутственные тосты и взыграть в руках, сдергивающих скатерти, в нечаянно целующих губах, в легких, набирающих побольше воздуха, чтобы достойно исполнить «Подмосковные вечера». «Время работает на нас, — думали они, разноцветно поблескивая в свете электричества, — наше дело правое, будет и на нашей улице праздник...»

Я купил бутылку коньяку (грузинского, на лучший у меня не хватило), лимон и вышел из магазина.

Чупров оказался дома.

— А, это ты, старик, — мрачно сказал он: — Заходи...

Просторная и светлая комната была невероятно захламлена. На полу валялся раскрытый этюдник, на столе, под столом, на подоконнике лежали рулоны бумаги. Сам хозяин, одетый, ворочался на постели, пристраивая ноги на спинку кровати.

— Что с тобой? — спросил я.

— Сволочи, — ответил он. — Работал, работал, а все псу под хвост.

— А что ты работал?

— Известно что — плакаты.

Чупров писал левые картины и был известен в либеральных кругах как новатор. Но продавать

полотна, отмеченные тлетворным влиянием Запада, было некому, с иностранцами он связываться боялся, а жрать надо было. Поэтому он делал плакаты: девушек с просветленными лицами на фоне кремлевских стен, шахтеров в полной подземной амуниции, шагающих уверенной поступью к светлому будущему, молодых инженеров в комбинезонах с кронциркулем в нагрудном кармане и с «Историей КПСС» подмышкой. Платили ему здорово, хотя и нерегулярно.

— Что, не приняли работу? — спросил я. — У тебя что же, договора не было?

— В том-то и штука, что не было. Я думал, им выбирать будет не из чего, ну, и решил рискнуть ради такого случая. Лево сделал, в своей, свободной манере. Соображаешь? Приношу, а там...

— Погоди, ради какого случая?

— Ты что, с луны свалился? Ради Дня открытых убийств. Без плакатов, небось, не обойдутся. Да ты слушай, не перебивай. Приношу, значит, я, а шеф — он же рутинер, академик, ермолки только не хватает. «Вы, говорит, Чупров, не по адресу обратились; такая, говорит, продукция для «Лайфа», может быть, и подходит, а для нас не годится». И пошел, и пошел: «событие в жизни страны... партия нас ориентирует... большие идеи требуют четкого воплощения... чтоб вдохновляло... чтоб звало... вот, смотрите...» И показывает мне плакат Артемьева и Кравца. Ну, поверишь, старик, смотреть не на что! Это я говорю не потому, что мой плакат отвергли, а их приняли, ты же знаешь, как я отношусь к этой работе. Это для меня кормушка, не больше. Но ведь совесть-то надо иметь! Если делаешь, так делай по-настоящему! Не халтурь! Жми! А они, говнюки, намалевали какие-то манекены, — не разберешь, где жи-

вые, где мертвые — башенный кран на заднем плане лягнули — и готово, радуйтесь, красочный плакат! И, в конце концов, наплевать мне на деньги, я на Первом Мая достаточно отхватил, но жалко труда, и-д-е-й жалко! Когда, наконец, у нас поймут, что теперь середина XX-го века, что искусство должно двигаться на новых... на новых... м-м-м, скоростях, что ли!

Чупров выпалил все это залпом и матюкнулся: пепел сигареты, обломившись, упал на подушку.

— Слушай, Саша, — осторожно сказал я, — а этот твой непринятый плакат... Можно на него взглянуть?

— Отчего же нет? Гляди — вон он, у стены.

Я расчистил свободное место на полу и развернул рулон.

На фоне огромного, не то восходящего, не то заходящего солнца стояли условные юноша и девушка; солнце било им в спину, и красные тени их фигур ложились поперек плаката; внизу слева тени сливались с красной черной лужей, омывавшей угол условного дома; в нижнем правом углу лежал, вздернув колени и раскинув руки, труп.

— Ну, как? — спросил Саша.

Я подумал и сказал:

— Масса экспрессии.

Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хакалы.

— Правда? — Саша просиял.

— Да, — продолжал я, — но мне кажется, что труп слишком кричит.

Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.

— Пожалуй, ты прав, старик, — сказал он. — И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли . . .

Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и рассказывал о том, что во всем виновата Зоя, что если бы не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого чорта . . . Да пропади они пропадом! А Зойка — сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за нее я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хо-чу!

— Чего ты не хочешь? — спросил Чупров.

— Пить я больше не хочу.

— Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегая за бутылкой . . . Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.

— Пошли!

Я встал, меня качнуло.

— Пошли, Саша! Пошли Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?

— Все! Он все может объяснить — он официант!

V

Они в любом подъезде залегли,
Они струятся запахом карболки,
Они в траве, растущей из земли.
В старинных книгах, дремлющих на полке.

Повсюду слышен шепот неживой,
И злой конец таит любая фраза.
Они в воде, текущей в душевой,
И в смелом бормотанье унитаза.

Георгий Болотин. «Дьяволы смерти».

Пока мы покупали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. «А зачем и куда я еду? — подумал я. — На кой ляд мне этот старик? А впрочем...» Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик, так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик, так старик.

Саша остановил машину и расплатился.

— Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я — мигом. . .

Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали — было еще светло. Я поднял глаза.

Новые восьми-девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственного превосходства, уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой «свиньей», — они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Зодчий, породивший их, протяни он указующую длань — и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроек, равняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных боек.

Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.

— Айда, — сказал он. — Маэстро дома.

Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.

В чистенькой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.

— Прощу, — сказал он. — Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по батюшке? Анатолий Николаич.

Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: холостецкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволит.

Мы прошли в большую, продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная скатерть на круглом массивном столе заботливо прикрыта прозрачной клеенкой, на диване-кровати, как горох, мал-мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.

— Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими стихами, — сказал Чупров. — Вы почитаете нам?

— Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Все-му свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том, о сем, обмахаемся, как муравьишки, — усиками. А там и до стихов рукой подать. «Стишок — отрада для кишок», как говаривал один мой добрый приятель. Как вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?

— Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя — и все!

— Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать — согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?

— Да как вам удобнее будет, — сказал я. — Хоть горшком назови...

— . . . только в печку не ставь, — закончил старик. Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникали на столе со сказочной быстротой. И также быстро, как заученные, сыпались из него слова — округлые, уютные и старомодные, как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.

— Да, насчет горшка и печки вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть — на уголечки, на жарок . . .

— Люди — звери, — мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.

— Напрасно, Сашенька. Напрасно зверей обижаете. Не изволили замечать, о чем люди в благодушном настроении охотнее всего рассуждают! О зверях, о зверушечках. А почему? А потому, что они всем милы. О книжках, скажем, о картинках, о статуях разных — обо всем спорят. О политике, само собой. А о зверях и спорить нечего. Вот в журнале весной этой прочел я статейку с фотографиями про зоопарки разных государств, директор Московского зоопарка написал — и приятно-с. Казалось бы, какая мне корысть, что в Италии чепрачный тапиренок народился? А читаю — и сердце радуется. И все так-то. Скоро звери единственным связующим звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди, — это не просто животные, это — носители, хранилища духовного начала!

Я невольно вскинул голову от тарелки — так несходны были эти последние фразы со всей его предыдущей речью — со «статуями», «народил-

ся», «изволили замечать». Старик увидел мое движение и остановился. Саша немедленно ворвался в паузу:

— Выпьем за тапиренка! Как его — чепрачный? За чепрачного тапиренка! Ура!

Мы выпили по несколько рюмок подряд. Старик быстро хмелел, и чем больше он хмелел, тем чище, тем интеллигентнее становилась его речь. Он уже больше не употреблял «слово-ер» Заложив нога на ногу, вертя головой от Саши ко мне, он, понизив голос, быстро и очень внятно говорил:

— Никто из нас не знает, что скрыто в душе у другого. К примеру, наш с вами откровенный разговор — есть ни что иное, как безумие, самоубийственное срывание одежд. Но если вы сорвете на улице одежду в буквальном смысле слова — вас отведут в милицию, оштрафуют, общественное порицание вынесут — и только! А откровенность, срывание одежд душевных — недопустимо! Как знать, а вдруг какое-то мое слово, какая-то идея уязвит вас в самое сокровенное, самое больное место, вопьется настолько сильно, что вырвать эту ядовитую занозу можно только ценой жизни моей?! И вы ринетесь убивать меня — спасти себя! А кто и что может воспрепятствовать вам? Или любому, другому, третьему? Кто из нас знает, сколько весит вражда, которую кто-то испытывает к нам? И чем она вызвана? Неловким словом, манерой закусывать, формой носа? Кстати, — он повернулся ко мне, — вы не еврей?

— Нет, — ответил я, трогая нос. — А что, похож?

— Да, есть что-то. Вот они, евреи, — мудрый народ. Они живут в страхе. И не в страхе Божиим, а в страхе людском. Они каждого рассматривают

как возможного врага. И правильно делают. Что может быть страшнее человека? Зверь убивает, чтобы насытиться. Ему — зверю — наплевать на честолюбие, на жажду власти, на карьеру. Он не завистлив! А вот мы — можем ли знать, кто жахнет нашей смерти, кого мы, сами не зная о том, обидели? Обидели самым существованием своим? Ничего мы не знаем . . .

— Звери из-за самок насмерть дерутся, — сказал Саша.

Геннадий Васильевич двинул бровями:

— Это статья особая. Это — инстинкт продолжения рода. В зверях есть мудрость и простота: они не влюбляются. А вот человек . . . Стоит человеку влюбиться — и он готов на любую пошлость, на любое преступление. Недаром римляне говорили: «Фемина — морс аниме» — «Женщина — смерть души». Но я не об этом. Я спрашиваю вас, Саша, и вас, Анатолий: вы уверены, что среди ваших знакомых и друзей нету таких, которые могут вас убить? Я о себе скажу, что не уверен! А смерть . . . вы молоды, вы о ней не думали, а я — я старик. Я лежу ночью вот на этом самом диване — посмотрите на него, у него деревянная спинка — ворочаюсь с боку на бок, толкнуь локтем о дерево и сразу: «Вот так будет и в гробу — дерево рядом, дерево сверху, дерево, дерево! . . .»

Он перевел дух; голова его чуть заметно тряслась.

— И ничего нельзя предусмотреть. Ничто не поможет: ни осторожность, ни одиночество — ничто! И напрасно они спорят, толкуют, светятся . . .

— Кто «они», Геннадий Васильевич? — спросил я.

— Эти вот — щелкоперы, — устало ответил старик.

Он встал, качаясь, и отдернул серую занавеску: вдоль всей стены протянулись стеллажи с книгами. Пестрые, переплетенные в цветистые ситцы писатели ворвались в комнату, как татарская орда, в клочья разорвав видимость благополучия, обманчивое спокойствие мещанского уюта, а с ними — скрипучие, громоздкие арбы философских систем, кривые зеркала сабель самоанализа, тупые тараны вселенского пессимизма, жеребцы цивилизации с желтой пеной человеконенавистничества на оскаленных мордах, вдребезги, в смятку, в лепешку топчущие седобородых евангелистов, воздевающих к равнодушному потолку распыляющиеся в атомную пыль заповеди . . .

— Все друг друга в ложке воды утопить готовы, — вздохнул Чупров, разливая остатки водки.

. . . Мы шли с Чупровым по пустым улицам. На перекрестках маячили постовые, во всю силу горели неоновые вывески продмагов, каблуки резко и звучно стучали по тротуару, но даже этот стук, обычно так нравящийся мне, сейчас не радовал. До Дня открытых убийств оставалась ровно неделя.

VI

Восстать — не посметь, уйти — не суметь,
И все одинаково, право:
Что выйдет солдату — бесславная смерть
Иль бессмертная слава.

Г. Болотин. «Привал»

Я перестал ходить на работу. Я позвонил в редакцию, сказал, что болен. Я валялся на постели, слонялся по комнате и часами рисовал профили на оберточной бумаге, в которой приносил из магазина колбасу.

За все время у меня был только Володька Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: «Зачем им все-таки понадобился этот Указ? «Им» — это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись, что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме.

— Почему? — спросил я.

— А как же? Все правильно: они должны были легализовать убийство, сделать его обычным явлением, поэтому и не объясняют ничего. Раньше объясняли, агитировали.

— Ты чушь порешь! Когда?

— В революцию.

— Ну, это ты загнул. Революция не так и не для того делалась.

— А тридцать седьмой год?

— Что тридцать седьмой?

— То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус, а сейчас безо всего. Убивайте — и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас — извольте сами. На самообслуживании.

— Ох, Володька, хватит! Твои антисоветские монологи перестали быть остроумными.

— А ты что, обиделся за Советскую власть? Ты считаешь, что за нее следует заступаться?

— За настоящую Советскую — конечно, следует.

— Это которая без коммунистов? Как у Шолохова в «Тихом Доне»?

— Иди к чорту!

— Оч-чень убедительный ответ! — съязвил Володька. — А ты...

— Хватит, — сказал я.

Мы помолчали, а потом он, обиженный, вшел.

Я снова лег на постель и начал думать. Почему и зачем издан этот Указ — это мне все равно. И нечего подводить под это научную базу и трепаться о революции. Я этого не люблю. Мой отец в Гражданскую комиссарил, и я думаю, он знал, за что воевал. Я его плохо помню — его взяли в тридцать шестом, одним из первых, — но после смерти матери я нашел его письма. Я их прочел, и, по-моему, люди моего поколения не имеют права болтать о тех временах. Мы можем и должны решать каждый за себя. Это все, что нам осталось, все, что мы в состоянии сделать, но и этого много. Слишком много.

Этот самый Арбатов, старик с Даниловского бульвара, разбередил меня. Да, я не хочу и не мо-

гу убивать, но могут захотеть и смочь другие. И объектом их усердия могу сделаться я — я, Анатолий Карцев! Я снова, как в день последнего свидания с Зоей, перебирал своих врагов. Этот не может. Этот хотел бы, но струсит. Этот может — камнем, кирпичем из-за угла. Кто еще? Этот? Нет, он мне не враг. Не враг? А откуда я знаю? А может и враг! И потом, почему убить меня могут только враги? Любой прохожий, любой пьяный, сумасшедший дурак может выстрелить мне в лицо, чтобы полюбоваться, как я дрыгаю ногами. Как я истекаю жизнью на асфальте. Как я заостряюсь носом, проваливаюсь щеками, отвисаю челюстью. Как через дырку в черепе уходят мои глаза, мои руки, мои слова, мое молчание, мое море, мой песок, мои женщины, мои неуклюжие стихи...

К чорту! К чортовой матери! Я не могу позволить им убить себя. Я должен жить. Я спрячусь, забаррикадируюсь, я пересажу у себя в комнате. Я не хочу умирать. Не хоч-чу! Живые сраму не имут. Лучше живая собака...

Стоп! Надо взять себя в руки. Надо успокоиться. Лучше живая собака. Я накануне куплю еды и в воскресенье не буду выходить совсем. Я буду лежать на постели и читать Анатоля Франса. Я очень люблю Анатоля Франса. «Остров пингвинов». «Восстание ангелов». Есть еще «Анатоль Франс в халате». Когда мне случилось ночевать у Зои, она надевала на меня халат Павлика и безумно веселилась. Тогда я не понимал, чему она так радуется, а теперь понимаю. Она думала, что овдовела и вышла за меня замуж. Интересно, каким способом она собиралась убить Павлика? Пересидеть воскресенье. Соседи тоже будут пересиди-

вать. Конечно, могут ворваться в квартиру. Надо укрепить входную дверь. Украсть внизу на стройке лом и заложить дверь. Ломом по голове. Если они ворвутся, я их буду бить ломом, как собак. Лучше живая собака. Недавно я был на собачьей выставке. Мне очень понравились борзые — с головами узкими и длинными, как дуэльные пистолеты. А на дуэли я смог бы драться? Пуля Пушкина попала Дантесу в пуговицу. Если я буду выходить в воскресенье, надо положить портсигар во внутренний карман пиджака, слева, где сердце. «Слева, где сердце» — это роман Леонгарда Франка, очень скучный. А Бруно Франк — это совсем другое, он написал книгу о Сервантесе. А что делал бы Дон Кихот 10-го августа? Он ездил бы по Москве на своем Россинанте и за всех заступался бы. На своем персональном Россинанте. Чудак с медным тазом на голове, он проехал бы по Красной площади, готовый переломить копьё во имя Прекрасной Дамы, во имя России. Бедный рыцарь на московских мостовых 1960 года, он искал бы своего друга, своего единомышленника — украинского хлопца, пропевшего когда-то песню о Гренаде. Но заложены булыжником следы боевых теней, и ямки, выбитые в земле древками полковых знамен, залиты асфальтом. Никого он не найдет, фантазер из Ламанчи. ни-ко-го! Уж это я точно знаю. Где они — те, что пошли бы за Дон Кихотом? Чупров? Маргулис? Игорь? Нет, нет, если они и будут драться, то только каждый за себя. Каждый за себя будет драться, каждый за себя будет решать. Постой, постой, кто это недавно говорил: «Мы должны решать каждый за себя»? А-а, это я сам говорил, я сам к этому пришел. Так чего ж я взялся судить других? Чем они хуже меня? Чем я лучше их?

Я вскочил с постели и с отвращением уставился на подушку, сохранившую вмятину от моей головы. Это я там лежал? Это я запасался жратвой и закладывал двери ломом? Это я трясся, как последняя тварь, за свою драгоценную шкуру? Это я чуть в штаны не нагадил от страха? Так чего ж я стою со всем своим великолепным пафосом разоблачения, презрения, со своей вонючей сторонней позицией? Понтий Пилат, предающий ежедневно свою собственную душу, — чего я стою?

Да, каждый отвечает сам за себя. Но за себя, а не за того, кем тебя хотят сделать. Я отвечаю за себя, а не за потенциального шкурника, доносчика, черносотенца, труса. Я не могу позволить им убить себя и этим сохранить свою жизнь.

Погоди, а что я буду делать? Я выйду послезавтра на улицу и буду кричать «Граждане, не убивайте друг друга! Возлюбите своего ближнего!» А что это даст? Кому я помогу? Кого спасу? Не знаю, ничего не знаю... Может быть, я спасу себя. Если не поздно.

VII

Останьтесь здесь! Куда же вы пойдете
В тоске безумной, в ярости слепой —
Ведь ангелы на бреющем полете
Пронесятся над воющей толпой,

Ведь тыщи гадов, позабыв о власти
Земных законов, вышли из болот,
Они шипят, распяливая пасти, —
И матери выкидывают плод.

Останьтесь здесь! Вас жизнь сама призвала
Глашатаями согнанных сюда.
Упейтесь, вдохновитесь доотвала
Бессмысленностью Страшного суда!

Георгий Болотин. «Вам, поэты!»

Десятого августа я встал в восемь часов утра. Побрился, позавтракал, почитал. За что я ни брался, я все равно неотвязно думал о том, что я должен выйти из дому. Об этом напоминали мне и репродукторы, наяривавшие бравурные марши за окном, и кошки, зигзагами гулявшие по мостовой, восхищенные внезапным безлюдием, и то, что соседи не выходили ни в кухню, ни в уборные — все совершали у себя в комнате.

Часов в одиннадцать я оделся, положил портсигар, куда собирался, и вышел на лестницу.

Я спускался по ступенькам не торопясь и бесшумно, так что, когда я на повороте столкнулся с соседкой с третьего этажа, это было неожиданно для нас обоих. А то, что произошло потом... Она вскрикнула, метнулась в сторону, сетка с бу-

тылками ударилась о перила. Зазвенело стекло, кефир хлынул сквозь ячейки авоськи на площадку. Женщина поскользнулась в густой кефирной луже и, ойкнув, грузно села на ступеньки. Я бросился помогать ей. И тут она крикнула второй раз и, закрыв глаза, стала слабо отталкивать меня трясущимися руками.

Она открыла глаза, медленно подняла ко мне свое мертвое лицо.

— Толя, Толя, — бормотала она невнятно. — Я же вас маленького . . . на руках . . . я вашу маму . . . Толя!

— Анна Филипповна, да что с вами? Здесь стекло, вы же порежетесь!

— Толя, — сказала она, — ведь я . . . ведь я . . . я подумала . . . Я кефирчику для Анечки, для внучки . . . Ох, Толя! . . .

И она заплакала. Ее грузное, оплывшее шестидесятилетнее тело содрогалось. Я поднял ее, подобрал сумку.

— Зиночка больна, а Борис в командировке, вот я за кефирчиком . . .

Сверху, с третьего этажа, уже бежала в распахнутом халате Зина, ее дочь, моя одноклассница.

— Мама! Что с тобой? Кто тебя? Что с тобой?

— Ничего, Зиночка, ничего. Я вот упала . . .

— Говорила я тебе, — начала Зина.

— Зина, отведи-ка мать домой, а я схожу за кефиром.

Я вынул залитые кефиром батоны и отдал их Зине.

— Толя, а деньги-то, деньги! . . .

. . . Когда я разделался с этим кефиром и снова вышел на улицу, стало еще жарче. Парило, как перед грозой, и я взял пиджак на руку, забыв о спасительном портсигаре. На душе у меня было

мерзко; перед глазами стояло помертвевшее лицо соседки, я слышал ее бессвязный и бессмысленный лепет: «Толя, Толя...»

Я шел по Никитскому бульвару. Он был такой же, как всегда, — веселый, нарядный, весь, как лошадь в яблоках, в крохотных тенях листьев. Только сегодня на нем не было детей. Подростки в рубашках с закатанными рукавами, развалившись на скамейках, поплевывали через плечо в газоны, да посреди аллей, надменно вздернув подбородок, шел пожилой мужчина, ведя на поводке огромного дога без намордника.

Когда я вышел на Арбатскую площадь, я увидел бегущих людей. Они торопились куда-то за старое метро, куда — я не мог увидеть: мешало здание кинотеатра. Я перебежал дорогу и протолкался сквозь толпу.

На земле, головой к стене, лежал человек. Он лежал в той самой позе, в какой был изображен труп на плакате Саши Чупрова: раскинув руки, завалив на бок согнутую в колене ногу. По рубашке расползлось красное пятно; рубашка была белая, вьетнамская — у меня тоже есть такая, мне ее весной купила сестра. Он лежал совершенно неподвижно, и солнце отражалось в узких носках его модных туфель. Я даже как-то не сразу понял, что он мертв; а когда понял, меня пробрал озноб. И потрясло меня не убийство, не смерть, а именно эта чуть ли не мистическая реализация графических бредней Чупрова: почему он лежит в точно такой позе? Он почти упирался запрокинутой головой в раму афиши; на афише лихой черно-белый танцор анонсировал декаду осетинского искусства и литературы. Рядом висела полуоборванная реклама Политехнического музея: «Кандидат

экономических наук Г. С. Горнфельд прочтет лекцию на тему: «Вопросы планирования и организации труда на предприятиях...» Дальше было оборвано.

Собравшиеся негромко переговаривались:

— Молодой.

— А может, он жив еще?

— Что вы! Он скончался: я зеркальце подносила, вот это, из сумочки.

— Кто ж это его?

— Цветочница говорит: «Подлетел длинный таковой, загорелый, и выстрелил. Окликнул его, а он обернулся, он и выстрелил.»

— Кто обернулся?

— Господи, да покойник же!

— И милиции, как на грех, нет!

— Когда не надо, они всегда тут.

— Погоди, папаша, а причем тут милиция?

— Как это причем? Человека убили!

— Ну и что?

— Тьфу ты, дурак какой! Человека, говорю, убили!

— А ты, отец, полегче. Не дурей тебя. Газеты читаешь? Сегодня — можно!

— Ты, парень, не ори: покойник рядом. Газеты — газетами, а совесть знать тоже надо.

— Вы, уважаемый, что-то не то говорите. Повашему, совесть и правительственный указ — вещи разные? Я бы на вашем месте поостерегся агитацией заниматься!

— А ты, милок, ступай отседова, пока я тебя клюшкой промеж очков не ляпнул!

— Боевой какой старикан!

— Мух-то отогнать надо бы. Нехорошо.

— Что ж это, милые мои, значит, какой ни есть хулиган пырнет вот эдак — и ничего ему за это не будет?

— Газеты, мамаша, читать надо. Сказано: «Свободное умерщвление». Но ты не тушуйся: побьют кого надо — и все.

— А кого это надо?

— Там уже знают кого. За-зря указ писать не станут.

— Как бы не раздели покойника. Туфли-то на нем . . .

— Грабить нельзя. Тут дело государственное.

Я выбрался из толпы и пошел прочь.

Я не помню сейчас, где я бродил, сколько улиц и площадей я прошагал и как я добрел до Красной площади.

Многолетним благоговением, плотным и осязаемым до отказа, до крыш и куполов, была забита выпуклая, прямоугольная коробка площади. Голые бетонные параллели трибун, трехъярусные кубы гробницы, прямые углы невысокого парапета, наивные двузубые стены — весь этот с детства, с младенческого лепета знакомый и любимый мною узор, непреложный и бескомпромиссный, как чертеж теоремы, внезапно ударил меня в мозг, в душу, в сердце. Дано: идея; требуется доказать: воплощение. И чертят, чертят оледеневшие в своем рвении геометры, чертят, положив бумагу на склоненную перед ними спину, чертят и не замечают, не хотят замечать, что прорвалась бумага, что сломался грифель, что по коже, по мясу бороздит обернувшийся шпигрутеноем карандаш! Остановитесь! Нельзя же, нельзя такой ценой! Ведь люди же! Ведь не этого он хотел — тот, кто первым лег в эти мраморные стены! . . .

Меня сбили с ног. Я упал, и прежде, чем я успел подняться, на меня навалился человек. Он сжал мне горло, но я резко дернулся и высвободил шею. Мы покатались, стучаясь головами о тесаный булыжник, стискивая друг друга и тщетно пытаюсь упереться ногами в скользкий, недавно политый камень. Передо мной мелькало голубое небо, пестрота Василия Блаженного, красный мрамор куба и две неподвижные статуи с винтовками, охранявшие мертвецов. Мы поднялись к ногам часовых. Здесь мне удалось, наконец, двинуть его коленом в живот. Он разжал руки, и я вскочил, пошатнулся, наступил на ногу часовому. Мой противник тоже поднялся, и я ударил его в челюсть, раз и еще раз, и он снова упал и пополз, и хотел встать, и руки у него подломились, и он сел, припадаясь спиной к мавзолею, и, сплевывая красную слюну, прохрипел:

— Я готов. Бей!

Я поднял валявшийся у парапета пиджак и сказал, задыхаясь:

— Сволочь . . .

Он ответил:

— По приказу Родины . . .

Я оглянулся на часовых. Они так же неподвижно стояли, как и три минуты назад, и только один из них, скосив вниз глаза, смотрел на пыльное пятно, оставленное моим каблуком на его начищенном сапоге . . .

Я пошел домой.

VIII

От прочих раковину отличив,
Обидел ее Господь:
Песчинку колючую взял и швырнул
В ее беззащитную плоть.

А если в дом твой Нечто войдет,
Куда убежишь от зла?
И шариком белым, прозрачным зерном
Жемчужина там росла.

Ричард О'Хара. «Лагуна».

Октябрьскую годовщину мы праздновали все той же компанией. После долгих переговоров решено было собраться у Зои и Павлика: у них отдельная двухкомнатная квартира, магнитофон с записями Вертинского и Лещенко, масса посуды — одним словом, женщины решили, что так будет лучше всего.

Я, когда мне сказали, что вечер устраивается там, сначала решил, что не пойду, а потом... а потом я подумал: «А какого чорта, собственно говоря? Компания своя, кормят там вкусно, а то, что я знаю про Зою... будем считать, что я ничего не знаю». Я, правда, был не совсем уверен, что Зое все равно — буду я или не буду, и поэтому я сказал Лиле, что еще не знаю, пойду ли я куда-нибудь вообще, что настроение у меня плохое, и что пусть Зоя позвонит накануне — тогда я скажу на-

верняка. А про себя решил, что во время разговора соображу, как поступать.

И Зоя позвонила.

Она поздоровалась со мной как ни в чем не бывало, спросила о здоровье, о настроении и о том, приду ли я. Она говорила со мной, и я отвечал ей и слышал ее дыхание в телефонной трубке. Она сказала:

— Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь.

Я сказал ей в трубку:

— Знаешь, Зоя, если я приду, то приду не один.

— А с кем?

— Ты ее не знаешь, — сказал я.

Зоя помедлила самую малость и сказала:

— Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Ты же знаешь, мы все будем рады твоим друзьям.

И мы попрощались.

«Ты ее не знаешь», — сказал я. Это была святая правда: я и сам не знал, кого я имел в виду.

Я перебрал в уме всех своих приятельниц, разумеется, одиноких. Их было и немало, но вся беда в том, что такое приглашение они истолковали бы слишком многозначительно, а у меня не было ни малейшего желания заводить новые романы. Может быть, пойти одному? Но мною вдруг овладел бес мальчишеской мстительности: я во что бы то ни стало должен доказать Зое, что мне на нее наплевать. Я решил позвонить Светлане. Светлана — это художница из нашего издательства, ей года двадцать три. Она очень мила, явно неравнодушна ко мне и достаточно скромна, чтобы не вообразить Бог знает что. Она очень обрадовалась,

когда я пригласил ее, смутилась и залепетала, что это неудобно, что она ни с кем не знакома, что, право, она не знает . . .

— Ерунда, Светочка, — сказал я. — Все они очень милые люди, и если вас не смущает, что они перепьются и будут петь блатные песни и, может быть, ругаться при этом, то . . . В общем, я вас жду завтра в пол-десятого на углу Столешникова, там, где книжный магазин.

. . . Мы пришли, когда все уже давно сидели за столом. Бутылки на треть были опорожнены, мужчины сняли пиджаки, и кто-то уже порывался запеть. Но благолепие праздничного стола не было окончательно разрушено: окурки еще не тыкали в тарелки и не путали рюмок.

При виде нас все радостно загалдели. Они галдели и разглядывали Светлану.

— Это Светлана, прошу любить и жаловать, — сказал я. — Держите бутылки, кормите и поите нас.

— Светланочка, деточка, идите сюда, — пропела Лиля. — Эти мужики совсем отбились от рук, сами едят и пьют и не оказывают нам никакого внимания. Но мы без них обойдемся, правда?

— Без нас не обойдетесь! — захотел Павлик. — Мы . . .

— Штрафную, штрафную! — кричал Володька.

— Светлана, вот ваш бокал, — Игорь налил сухого вина. — А может, вы выпьете коньяку? Водку я не решаюсь предлагать.

— Нет, нет, что вы, спасибо, — Светлана улыбалась несколько напряженно.

— Толя, куда вы пропали, почему не приходите? Мишенька все время спрашивает: «А где дядя Толя? А когда он придет?» — Эмма, Володькина

жена, положила бюст на стол и округлила рот и глаза, изображая сына. Одета она была, как всегда, ярко и безвкусно.

— Итак? — Зоя протянула мне рюмку водки.

— Итак? — отозвался я.

— С праздником! С праздником вас, опоздавшие! — Павлик потянулся ко мне через стол — чокаться. — Я уж боялся, что вы не придете. Мы с Зоей...

— Павлик, ты льешь.

— Прости дорогая... Мы с Зоей...

— Павлик, передай салат, пожалуйста.

— Мы с Зоей... Да что ты мне слова сказать не даешь?!

— Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты и мне налил вина.

Шум нарастал. Уже не было общего разговора. Уже Игорь всю ухаживал за Светланой, уже Лиля, выскочив из-за стола, повисла на каком-то длинном парне, которого все называли «Геолог Юра», уже Володька читал громко стихи модного молодого поэта, плохие стихи с неряшливыми, как болтающиеся шнурки, рифмами. На него наскакивала востроносая девица и кричала, что поэт — пошляк, а стихи — бездарные.

— Пошляк — а гражданское мужество?! — орал Володька. — Бездарные — а «Комсомольская Правда» его ругает!

Все веселились. Павлик налаживал магнитофон. Эмма ела салат. Геолог Юра повторял: «Мы там отвыкли от майонеза». Я выпил три рюмки и нивесть чего обозлился.

— Слушайте, друзья, — сказал я, покрывая разноцветный шум пирушки, — а вы знаете, что я вас всех чертовски люблю!

— Толинька!

— То-ля!

— Толя, лапонька!

— Ведь это ужасно глупо, что мы так редко встречаемся, — продолжал я. — Когда мы последний раз собирались?

— Последний раз?

— В самом деле — когда?

— А я знаю! — закричала Лиля. — Последний раз мы собирались у нас на даче! Когда объявили про День открытых убийств!

Все разом замолчали. Даже наладившийся было магнитофон скрипнул каким-то своим тормозом и остановился. И только Эмма с разгону продолжала говорить:

— ... а в школе у них организованы горячие завтраки ...

Но оглянувшись на тишину умолкла и она. Пауза длилась, затягивалась, становилась уже неприличной.

— В самом деле, — сказал Игорь, — столько времени прошло, столько событий. Десятое августа ...

— Мы с Зоей, — закричал Павлик, — мы с Зоей пересидели спокойненько ... Телевизор, магнитофончик ... На другой день меня на работе спрашивают ...

И тут всех будто прорвало:

— ... а я ему говорю: «Я тебя первого пристукну! Ты, говорю, падло! И загнул, знаешь, как я умею! ...

— В Одессе блатные поймали начальника милиции. Ну, он, конечно, в форме был. Так что они сделали? Переделали его в какую-то рвань и отпустили. Понимаете, отпустили! А потом догнали и ... кончили! Их еще потом судили.

- Ну-у?
- Осудили... за грабеж!
- Слушайте, слушайте, что было в Переделкине! Кочетов нанял себе охрану — из подмосковной шпаны. Кормил, поил, конечно. А другие писатели тоже наняли — понимаете? Чтобы Кочетова прихлопнули!
- Ну, и что же было?
- Что было! Драка была — вот что! Шпана между собой дралась!
- Ребята, а кто знает: много жертв было?
- По РСФСР немного: не то восемьсот, не то девятьсот, что-то около тысячи. Мне один человек из ЦСУ говорил.
- Так мало? Не может быть!
- Правильно, правильно. Эти же цифры по радио передавали. По заграничному, конечно.
- Ух, и резня там была! Грузины армян, армяне азербайджанцев...
- Армяне азербайджанцев?
- Ну да, в Нагорном Карабахе. Это же армянская область.
- А в Средней Азии как? Там тоже, небось, передрались?
- Не-ет, там междоусобия не было. Там все русских резали...
- Письмо ЦК читали?
- Читали!
- Не читали! Рассказывай!
- Во первых, про Украину. Там Указ приняли как директиву. Ну, и наворотили. Молодежные команды из активистов, рекомендательные списки: ну, по описи сразу известно стало — разве такое в секрете удержишь? И пришлось спецкомандам облизнуться: все, кто в списках значился, удрали. Так что это дело у них бортиком выш-

ло. И еще ЦК им приложил — за вульгаризацию идеи, за перегибы. Четырнадцать секретарей райкома и два секретаря обкома — фьють!

— Ну да?

— Абсолютно точно. А в Прибалтике никого не убили.

— Как никого не убили?!

— А так! Не убили — и баста!

— Да ведь это демонстрация!

— И еще какая! Игнорировали Указ, и все. В письме ЦК устанавливается недостаточность политико-воспитательной работы в Прибалтике. То же кого-то сняли.

— ... бежит по переулку, кричит и стреляет, стреляет! Очередями по окнам! Откуда он автомат раздобыл? В Авиационно-технологическом автомат преподает ...

— А мы двери на замок, шторы опустили — и в автоматчика ...

— Я ему говорю: «Не смей, подумай о детях!» А он: «Я пойду на улицу!» — и даже зубами за скрипел. Миша плачет ... Еле его уговорила.

— ... в «Известиях» статья этой, как ее ... Елены Коломейко. О воспитательном значении для молодежи. Она еще как-то с политехнизацией и с целинными землями увязала ...

— В «Крокодиле»! Там такой рисунок: он лежит ...

— А мы с Зоей жалели только, что никого из своих нет: веселее было бы ...

Миновало, миновало, миновало! Это произнесенное словечко прорывалось сквозь анекдотические рассказы, сквозь нервный смешок, сквозь фрондеровские реплики в адрес правительства. Впервые со Дня открытых убийств услышал я, как люди говорят о случившемся. До сих пор, ког-

да я заговаривал с ними об этом, они смотрели как-то странно и переводили разговор на другое. Я подчас ловил себя на дикой мысли: «А не приснилось ли мне все это?!» А теперь — миновало! А теперь мы справляем 43-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Четверо — Светлана, Зоя, Володька и я — молчали. А водоворот впечатлений, рассказов, слухов, сведений крутился, повисал пестрой радугой, брызгал пеной на бежевые обои:

— У нее в экспедиции все было тихо-мирно. У нас нельзя — тайга кругом. Сегодня — ты, а завтра — я...

— Он на рассвете покончил самоубийством, сосед наш... Тихий такой старичек, официантом в «Праге» работал...

— Я всю ночь не могла заснуть, казалось, кто-то скребется...

Я вспомнил, как в ночь на 11-е августа я вышел и увидел идущие по Садовой машины для поливания улиц; они шли широким фронтом, раскинув водяные щетки и мыли, мыли, мыли мостовую и тротуары...

Дождавшись, когда Светлана повернется ко мне, я тихонько показал ей глазами на дверь. Она вышла, а через минуту вышел и я. В кухне было уютно и тихо.

— Ну, как, Светлана? Нравится?

— Я не понимаю, Толя. Они действительно были все очень милые, а потом, когда начали про это говорить... Почему они так радуются?

— Они радуются, что уцелели, Светочка.

— Но они же все прятались! Их же, — Светлана запнулась, подыскивая слово, — их же... запугали!

— Запугали? — я взял Светлану за плечи, — Света, вы понимаете? . .

Нет, она не понимала. Она не могла понять, что самим этим словом ответила на вопрос, который задавали себе и друг другу миллионы растерявшихся людей. Она, эта девчушка, не могла понять, что стала вровень с государственными мужами, с зоркими пастырями народа, вровень с мудрым шелестом бумаг в затемненных кабинетах, вровень с негромким и почтительным бормотанием референтов, вровень с тем, что так торжественно именуется Державой. Ей казалось, что она сказала это слово мне, а она нечаянно бросила его в лицо огромным правительственным зданиям, чернобелым гектарам газет, ежедневно устилающих страну, согласному реву общих собраний, навстречу дявольскому ляганью гусениц, несущих разверстые пасти орудий на праздничные парады.

Я обнял ее и сказал:

— Хватит об этом, Света. Я хочу вас поцеловать, давно уже хочу, разве ты не видишь? . .

. . . И вот, проводив Светлану, я иду домой. Я иду по знакомым улицам, по переулкам, которые я мог бы пройти с закрытыми глазами. Сквозь тюлевые занавески розовеют пышные криволинейные абажуров. У подъездов расстаются и никак не могут расстаться парочки. Каменный Тимирязев задумчив, как палец, приставленный ко лбу. Откуда-то гремит радио, где-то взвизгивает тормозами машина, шумят резвеселые компании, так же, как я, возвращающиеся из гостей. Где-то в своих комнатах на каких-то своих этажах сидят люди и бормочут ругательства, стихи, признания в любви.

Это — говорит Москва.

Я иду по улице, по тихому уютному бульвару, нащупываю в кармане тетрадь и думаю о том, что я написал. Я думаю, что написанное мною могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, так же, как и я любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней и о ее людях, и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?

Я иду и говорю себе: «Это — твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других.» И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это — говорит Москва.

1961.

РУКИ

Ты вот, Сергей, интеллигент, вежливый. Поэтому и молчишь, не спрашиваешь ничего. А наши ребята, заводские, так те прямо говорят: «Что, говорят, Васька, допился до ручки?!» Это они про руки мои. Думаешь, я не заметил, как ты мне на руки посмотрел и отвернулся? И сейчас все норовишь мимо рук глянуть. Я, брат, все понимаю — ты это из деликатности, чтобы меня не смущать. А ты смотри, смотри, ничего. Я не обижусь. Тоже, небось, не каждый день увидишь такое. Это, друг ты мой, не от пьянства. Я и пью-то редко, больше в компании или к случаю, как вот с тобой. Нам с тобой нельзя не выпить за встречу-то. Я, брат, все помню. И как мы с тобой в секрете стояли, и как ты с беляком по-французски разговаривал, и как Ярославль брали... Помнишь, как ты на митинге выступал, за руку взял меня — я рядом с тобой случился — и сказал: «Вот этими, сказал, руками...» Да-а. Ну, Серега, наливай. А то я и впрямь расхлюпаю. Забыл я, как она называется, трясучка эта, по-медицинскому. Ладно, у меня это записано, я тебе потом покажу... Так вот — отчего это со мной приклю-

чило? От происшествия. А по порядку если говорить, то расскажу тебе так, что, когда демобилизовались мы в победившем 21-ом году, то я сразу вернулся на свой родной завод. Ну, мне там, ясное дело, почет и уважение, как революционному герою, опять же — член партии, сознательный рабочий. Не без того, конечно, было, чтобы не вправить мозги кому следует. Разговорчики тогда разные пошли: «Вот, дескать, довоевались, дохозяйничались. Ни хлеба, ни хрена...» Ну, я это дело прескал. Я всегда был твердый. Меня на этой ихней меньшевистской мякине не проведешь. Да. Ты, наливай, меня не дожидайся. Только проработал это я с год, не больше, — хлоп, вызывают меня в райком. «Вот, говорят, тебе, Калинин, путевка. Партия, говорят, мобилизует тебя, Калинин Василий Семенович, в ряды доблестной Чрезвычайной Комиссии, для борьбы с контрреволюцией. Желаем, говорят, тебе успехов в борьбе с мировой буржуазией и кланяйся низко товарищу Дзержинскому, если увидишь». Ну, я — что ж? Я человек партийный. «Есть, говорю, приказ партии исполню». Взял путевку, забежал на завод, попрощался там с ребятами и пошел. Иду, а сам в мечтах воображаю, как я всех этих контриков беспощадно вылавливать буду, чтобы они молодую нашу Советскую власть не поганили. Ну, пришел я. Действительно, Дзержинского Феликса Эдмундовича видел, передал ему от райкомовцев, чего говорили. Он мне руку пожал, поблагодарил, а потом всем нам — нас там человек тридцать было, по партийной мобилизации, — выстроил нас всех и сказал, что, мол, на болоте дом не построишь, надо, мол, болото сперва осушить, а что, мол, при этом всяких там жаб да гадюк уничтожить придется, так на то, говорит, есть железная необходимость. И к этому, говорит, всем нам надо руки приложить... Значит, он сказал вроде басни или анекдота ка-

кого, а всё, конечно, понятно. Строгий сам, не улыбнется. А после нас распределять стали. Кто, что, откуда — расспросили. «Образование, говорят, какое?» У меня образование, сам знаешь, германская да гражданская, за станком маялся — вот и все мое образование. Два класса церковно-приходской кончил... Ну, и назначили меня в команду особой службы, а просто сказать — приводить приговоры в исполнение. Работа не так чтобы трудная, а и легкой не назовешь. На сердце влияет. Одно дело, сам помнишь, на фронте: либо ты его, либо он тебя. А здесь... Ну, конечно, привык. Шагаешь за ним по двору, а сам думаешь, говоришь себе: «Надо, Василий, Н-А-Д-О. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». Привык. Выпивал, конечно, не без того. Спирт нам давали. Насчет пайков каких-то там особенных, что, дескать, чекистов шоколадом и белыми булками кормят — это все буржуйские выдумки: паек, как паек, обыкновенный, солдатский — хлеб, пшено и во-бла. А спирт, действительно, давали. Нельзя, сам понимаешь. Ну, вот. Проработал я таким манером месяцев семь, и тут-то и случилось происшествие. Приказано нам было вывести в расход партию попов. За контрреволюционную агитацию. За злостность. Они там прихожан мутили. Из-за Тихона, что ли. Или вообще против социализма — не знаю. Одним словом — враги. Их там двенадцать человек было. Начальник наш распорядился: «Ты, говорит, Калинин, возьмешь троих, ты, Власенко, ты, Головчинер, и ты...» Забыл я, как четвертого-то звали. Латыш он был, фамилие такое чудное, не наше. Он и Головчинер первыми пошли. А у нас так было устроено: караульное помещение — оно как раз посередке было. С одной стороны, значит, комната, где приговоренных держали, а с другой — выход во двор. Брали мы их по одному. С одним во дворе закончишь, оттащишь его с

ребятами в сторону и вернешься за другим. Оттаскивать необходимо было, а то, бывало, как выйдешь за другим, а он как увидит покойника и начнет биться да рваться — хлопот не оберешься, да и понятно. Лучше, когда молчат. Ну, вот, значит, Головчинер и латыш этот кончили своих, настала моя очередь. А я уж до этого спирту выпил. Не то, чтобы боязно мне было или там приверженный я к религии был. Нет, я человек партийный, твердый, я в эту дурь — богов там разных, ангелов, архангелов — не верю — а все ж таки стало мне как-то не по себе. Головчинеру легко, он — еврей, у них, говорят, и икон-то нету, не знаю, правда ли, а я сижу, пью, и все в голову ерунда всякая лезет: как мать-покойница в деревне в церковь водила и как я попу нашему, отцу Василию, руку целовал, а он — старик он был — тезкой все меня называл... Да-а. Ну, пошел я, значит, за первым, вывел его. Вернулся, покурил малость, вывел второго. Обратно вернулся, выпил — и что-то замутило меня. «Подождите, говорю, ребята. Я сейчас вернусь.» Положил маузер на стол, а сам вышел. Перепил, думаю. Сейчас суну пальцы в рот, облегчусь, умоюсь, и все в порядок придет. Ну, сходил, сделал все, что надо — нет, не легчает. Ладно, думаю, черт с ним, закончу сейчас все и — спать. Взял я маузер, пошел за третьим. Третий был молодой еще, видный из себя, здоровенный такой попище, красивый. Веду это я его по коридору, смотрю, как он рясу свою долгополую над порогом поднимает, и тошно мне как-то сделалось, сам не пойму — что такое. Вышли во двор. А он бороду кверху задирает, в небо глядит. «Шагай, говорю, батюшка, не оглядывайся. Сам себе, говорю, рай намолил.» Это я, значит, пошутил для бодрости. А зачем — не знаю. Сроду со мной этого не бывало — с приговоренными разговаривать. Ну, пропустил я его на три шага вперед, как по-

ложено, поставил ему маузер промеж лопаток и выстрелил. Маузер — он, сам знаешь, как бьет — пушка! И отдача такая, что чуть руку из плеча не выдергивает. Только смотрю я — а мой расстрелянный поп поворачивается и идет на меня. Конечно, раз на раз не приходится: иные сразу плашмя падают, иные на месте волчком крутятся, а бывает и шагать начинают, качаются, как пьяные. А этот идет на меня мелкими шагами, как плывет в рясе своей, будто я и не в него стрелял. «Что ты, говорю, отец, стой!» И еще раз приложил ему — в грудь. А он рясу на груди распахнул-разорвал, грудь волосатая, курчавая, идет и кричит полным голосом: «Стреляй, кричит, в меня, антихрист! Убивай меня, Христа твоего!» Растерялся я тут, еще раз выстрелил и еще. А он идет! Ни раны, ни крови, идет и молится: «Господи, остановил Ты пулю от черных рук! За Тебя муку принимаю!... Не убить душу живую!». И еще что-то... Не помню уж, как я обойму расстрелял; только точно знаю — промахнуться не мог, в упор бил. Стоит он передо мной, глаза горят, как у волка, грудь голая, и от головы вроде сияние идет — я уж потом сообразил, что он мне солнце застил, к закату дело шло. «Руки, кричит, твои в крови! Взгляни на руки свои!» Бросил я тут маузер на землю, вбежал в караулку, сшиб кого-то в дверях, вбежал, а ребята смотрят на меня, как на психа, и ржут. Схватил я винтовку из пирамиды и кричу: «Ведите, кричу, меня сию минуту к Дзержинскому или я вас всех сейчас переколю!» Ну, отняли у меня винтовку, повели скорым шагом. Вошел я в кабинет, вырвался от товарищей и говорю ему, а сам весь дрожу, заикаюсь: «Расстреляй, говорю, меня, Феликс Эдмундыч, не могу я попа убить!» Сказал я это, а сам упал, не помню больше ничего. Очнулся в больнице. Врачи говорят: «Нервное потрясение.» Лечили меня, правду сказать, хорошо,

заботливо. И уход, и чистота, и питание по тем временам легкое. Все вылечили, а вот руки, сам видишь, ходуном ходят. Должно быть, потрясение это в них перешло. Из ЧК меня, конечно, уволили. Там руки не такие нужны. К станку, ясное дело, тоже не вернешься. Определили меня на склад заводской. Ну, что ж, я и там дело делаю. Правда, бумаги всякие, накладные сам не пишу — из-за рук. Помощница у меня для этого есть, смышленная такая девчоночка. Вот так и живу, браток. А с попом тем я уж потом узнал, как дело было. И никакой тут божественности нету. Просто ребята наши, когда я оправляться ходил, обойму из маузера вынули и другую всунули — с холостыми. Пошутили, значит. Что ж, я на них не сержусь — дело молодое, им тоже не сладко было, вот они и придумали. Нет, я на них не обижаюсь. Руки только вот у меня... совсем теперь к работе не годятся...

Ч Е Л О В Е К И З М И Н А П А

1.

Две молодые женщины, Анна Львовна Княжицкая и Вера Ивановна Кранц, сбросив туфли, забрались на тахту с ногами. Обе дамы чувствовали себя великолепно: они только что поужинали, выпили коньяку и закурили. Муж Анны Львовны недавно уехал в командировку, и, кроме них, в квартире никого не было. Все располагало к интимной беседе, к откровенному разговору. И как только подружки перекочевали на тахту, разговор действительно произошел.

Начала его Вера Ивановна.

— Анечка, ты не сердись на меня, но я должна спросить тебя об одной вещи.

— Спрашивай, — лениво отозвалась Анна Львовна.

— Ты думаешь обзаводиться детьми или нет? Тебе уже, извини меня, 28, годы идут, а чем позже, тем труднее будет. Чего ты ждешь? Зарабатываете вы прилично, жилищные условия — лучше и желать нечего, отдельная

квартира. В чем дело? Или ты так и собираешься этой, как ее — бесплодной смоковницей? Ты у врачей была?

— А зачем мне ходить к врачам? Все дело в Леониде.

— Он что же — не может?! Бедная моя!

— Как же не может? За последние два года я три раза аборт делала.

— Зачем?!

— Леонид. Все дело в нем. Он, видишь ли, хочет мальчика. Ему, понимаешь, продолжатель рода нужен. Он гарантий от меня требует. А какие у меня гарантии?... Ольга — знаешь, сестра двоюродная Леонида? — на хвосте принесла, что надо высчитывать.

— Что высчитывать?

— Понимаешь, организм у мужчин обновляется каждые четыре года, а у нас каждые три. В общем, у кого в это время организм обновленный, тот и родится. То есть не тот родится, а ребенок. Если мужчина обновленный, то мальчик, а если женщина, то девочка.

— Когда обновленный?

— Господи, ну, что значит «когда»? В этот самый момент. Ну, зачатие когда происходит. В общем, все это ерунда. Мы стали знакомых детей вспоминать, и ничего не сходится. Давай выпьем еще по рюмочке?

Они выпили по рюмочке, и Вера Ивановна сказала:

— Анька, ты дура. Родила бы ему кого попало — небось обратно не запихнет.

Анна Львовна заморгала красивыми коровьими глазами и заплакала.

— Ты его не знаешь. Он только перед чужими такой тихонький. Он меня со свету сживет, если девочка. Он меня бросит с девочкой вместе. А он все-таки интел-

лигентный человек, вечернюю школу кончил. И зарабатывает прилично, ты сама говоришь. А второй раз замуж не выйдешь. Женщин на тридцать процентов больше. По переписи.

Против данных всесоюзной переписи Вера Ивановна спорить не стала. Она только налила плачущей Анне Львовне коньяку и выпила сама. Ей и так было жалко подругу, а тут еще коньяк взыграл, и очень захотелось помочь. Но это была тайна. Вера Ивановна смотрела на ревущую Анну Львовну и мысленно взвешивала — так ли уж несчастна ее подруга? Дело в том, что помогая Анне Львовне, она вручила бы ей свою честь и свое семейное благополучие. Заветная тайна билась у нее под языком, как золотая рыбка в кулаке. И Вера Ивановна не выдержала:

— Аня, — сказала она наконец, — Аня, поклянись мне, что ты никому не скажешь. Поклянись всем, что есть у тебя святого!

— Клянусь, — сказала Анна Львовна, стараясь сообразить, что у нее святое, но кроме ВЛКСМ, из которого она недавно выбыла по возрасту, она так ничего и не вспомнила.

2.

Прощаясь, Вера Ивановна сказала:

— Значит, договорились: как только вернется Леонид, сразу же дашь мне знать, а я пока подготовлю почву...

И вот, наконец, возвратился из командировки Леонид Николаевич Княжицкий. Была радостная встреча на вокзале, веселый ужин вдвоем и счастливая содер-

жательная ночь. А на утро, проводив мужа на работу, Анна Львовна бросилась к телефону.

— Верочка, это я. Леонид приехал. Да, вчера. Да-да, три раза. Да. Безо всего. Да? уже? В два часа? Ох, как я боюсь! Приду. Нет, нет, приду обязательно. Что мне надеть? Ведь надо, наверно, одеться получше? Ой, Верка, как тебе не стыдно! Я же серьезно. На кнопках? Бежевое на кнопках — ну, ты знаешь, с круглым вырезом... Пока.

...Остановившись перед дверью, Анна Львовна суетливо открыла сумочку, попудрилась и нажала кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась, и Вера Ивановна, подхватив гостью под руку, повела ее в столовую. Там за столом, сервированном на троих, сидел молодой человек. Он сидел, небрежно откинувшись на спинку стула, поигрывая металлической крышкой от сахарницы. Он курил сигарету с фильтром.

— Знакомьтесь, пожалуйста, — сказала Вера Ивановна. — Это Володя Залесский. А это Анечка. Я вам обоим друг о друге рассказывала, вы уже заочно знакомы.

— Но очное знакомство превзошло все мои ожидания, — равнодушно сказал Володя.

— Анечка, Володя, ешьте, пожалуйста. Володя, наливайте вино. Ничего не поделаешь, вы единственный мужчина — придется потрудиться.

— Готов к труду и обороне, — тем же голосом вокзального диктора произнес Володя. Он разлил вино по рюмкам.

— А к нападению вы готовы? — спросила Вера Ивановна кокетливо.

— Всегда готов, — сказал Володя. Он не поддержал шутливого тона хозяйки: он просто ответил на поставленный ему вопрос.

Ел Володя без суеты и опрятно, загодя обдирая колбасную кожуру и обрезая лишнюю ветчину по краю бутерброда. Из обрезков он потом устроил себе отдельный бутерброд, крытый ветчинной мозаикой.

Закусывая, говорил об американском «Айс-ревью», а когда все почти съедено было и выпито, Вера Ивановна посмотрела на часы и ненатурально ахнула.

— Ах, — сказала она. — Ах, я совсем забыла. У меня в четыре примерка. Друзья мои, посидите тут, поразвлеките друг друга. Анечка, покажи Володе квартиру.

Она упорхнула. Гулко, как стартовый пистолет, хлопнул замок входной двери и, словно повинувшись этому сигналу, Володя встал.

— Вы знаете Верину квартиру? — лепетнула Анна Львовна.

— Да. Спальня там, — ответил он, взял ее за плечо и слегка подтолкнул к двери.

В спальне он деловито взял ее за обе груди сразу и приподнял их, как бы взвешивая. Потом повернул Анну Львовну спиной к себе и расстегнул кнопки на платье. На этом период ухаживания закончился. Он оставил ее, снял пиджак, поискал глазами плечики и, не найдя, повесил на спинку стула. Сняв брюки, он повернулся и рассеянно посмотрел на Анну Львовну.

— Ну? — сказал он.

Анна Львовна покорно, как на приеме у гинеколога, стала раздеваться. Уже лежа, закрывая глаза, она пролепетала в нависшее над ней Володино лицо.

— Мальчика...

— Знаю. Меня Вера предупредила, — ответил Володя.

С Володей Залесским Вера Ивановна познакомилась на курорте, в Крыму. Подобралась теплая компания, было весело и беззаботно. Вспыхивали и затухали бессчетные романы, любили усердно и не щадя себя, вкладывая в это мероприятие весь нерастраченный на службе трудовой энтузиазм. Торопились все так, как-будто непосредственно по окончании отпуска наступит конец света. Самые остроумные говорили: «Все равно — атомная бомба!», прочие же сходились не мудрствуя, без ссылок на международную обстановку.

Однажды Вера Ивановна в перерыве между удовольствиями принялась рассказывать Володе о своей семье. Есть нечто фатальное в том, что на каком-то определенном этапе интимности любовники вдруг начинают выкладывать друг другу всю подноготную о своих женах и мужьях. Может быть, это традиция, неведомыми путями передающаяся от одного поколения курортников к другому, а может быть, потребность организма? Этого я, к сожалению, не знаю. Так или иначе, но Вера Ивановна подробно описала сокровенные привычки Семена Моисеевича, с похвалой отозвалась о его мужских достоинствах, рассказала о том, какой он заботливый (— «Все евреи, знаешь, замечательные семьянины!»), с умилением повторила забавные выражения своего четырехлетнего сына, и между прочим сказала:

— Мы бы еще одного завели, но нам с Семой хочется, чтобы теперь была девочка...

— Был бы я твоим мужем, я бы тебе на заказ сработал. Раз — и готово! Хочешь девочку, хочешь — мальчика...

Вера Ивановна засмеялась.

— Хочешь — двойню, — с пьяным упорством продолжал Володя (с вечера они с Верой Ивановной накатались массандровским вином), — хочешь — тройню: двух мальчиков и девочку, двух девочек и мальчика...

— А гермафродита можешь?

— Я серьезно говорю!

Володя обиделся и встал на постели во весь свой голый рост. Вера Ивановна смотрела на него снизу вверх.

— Ты не туда смотри! — воскликнул Володя. — Ты сюда смотри!

И он хлопнул себя ладонью по лбу.

— Ну ладно, ладно, ложись, чего ты взвился, как ракета?...

На другой день, когда они возвращались с пляжа, Вера Ивановна вдруг засмеялась и сказала:

— Володя, а ты помнишь, что ты ночью спяну городил?

Володя, отвернувшись в сторону, буркнул:

— А я не спяну.

Вера Ивановна остановилась.

— То есть как не спяну?

— А вот так.

Он отколупнул кусочек коры пробкового дерева, машинально понюхал его и сказал:

— Я действительно могу... это... зачинать кого хочу...

...Это было три года назад. Вскоре они уехали в Москву. Вера Ивановна вернулась в объятия мужа, но не забыла и Володю: он не раз навещал ее в рабочие часы Семена Моисеевича.

Сейчас у супругов Кранц была очаровательная двухлетняя Лидочка.

Но Вера Ивановна на этом не успокоилась. Необычайное дарование, выдающиеся способности Володи не должны были пропадать за-зря в ожидании того далекого, покрытого дымкой неопределенности дня, когда Володя на ком-нибудь женится. «Сколько семей страдает, — думала Вера Ивановна, — сколько браков были бы более счастливыми, если бы Володя... вмешался. Я должна, должна помочь людям. Это, если хотите, мой гражданский долг,» — спорила она с воображаемым оппонентом. Да, что и говорить, еще с пионерских лет была в ней этакая общественная жилка. И когда она приступила к осуществлению задуманного, то чувствовала себя чем-то вроде Жанны д'Арк при аполитичном короле Карле Седьмом. Она стала убеждать Володю, что он не вправе зарывать свой талант, не для этого страна растила и воспитывала его! Володя колебался, но когда Вера Ивановна сказала, что он, Володя Залесский, призван осуществить на практике лозунг Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы», когда она, поправив бретельку комбинашки, села на постели и воскликнула: «Ты же комсомолец, Володя!» — он не выдержал и согласился.

Чета Княжицких была седьмой по счету супружеской парой, по отношению к которой Вера Ивановна и Володя исполнили свой долг.

4.

Когда Вера Ивановна возвратилась домой, Володи уже не было. Анна Львовна убирала посуду со стола, и только самоуглубленное, сосредоточенное выражение ее

лица говорило о том, что произошло нечто значительное. Вера Ивановна, полная жгучего сочувствия, принялась расспрашивать ее. Выслушав подробный отчет, она обняла ее и поцеловала; с таким, примерно, чувством она обнимала своего сына первоклассника, когда он сообщал ей, что получил «пятерку» за чистописание. Правда, про себя она не без удовольствия отметила, что Володя не очень баловал ее подругу дополнительными знаками внимания, второстепенными, но приятными.

— На когда вы еще договорились? — спросила она.

— А мы не договаривались, — растерянно ответила Анна Львовна.

— То есть как не договаривались?? — возмутилась Вера Ивановна. — Ты, Анька, как ребенок, честное слово! Повторить-то ведь надо!

— А зачем?

— «Зачем, зачем»! Затем, чтобы навстречу было — вот зачем!

— Да, — задумчиво сказала Анна Львовна, — действительно. Когда случали Джильду — это соседская овчарка, — так ее два раза водили.

— Собак не случают, а вяжут, — настаивательно сказала Вера Ивановна. — Но дело не в этом. Правда, Аня, ты какая-то неинициативная.

— Верочка, не сердись! Я же... как это... ну, в общем, в первый раз изменяю мужу.

— Все когда-нибудь в первый раз изменяют. Да это вовсе и не измена.

— Но что же это?

— Как бы тебе объяснить... Ну, скажем, если у тебя холодильник испортился, ты же не к Леониду обратишься, а к мастеру. Мебель для кухни ты кому зака-

звала? Столяру. Он сделал, а уж потом вы с Леонидом вместе пользовались. Понимаешь, специалист делал. Вот и Володя тоже специалист.

Действительно, Анна Львовна холодильник мужу бы не доверила; и стеклянные кухонные шкафчики тоже делал не он, а мастер, специалист. И Анна Львовна успокоилась.

Отругав подругу за легкомыслие, Вера Ивановна снова созвонилась с Володей. Встреча была назначена через день, на среду; но во вторник в детском саду обнаружили коклюш, Вере Ивановне пришлось оставить дочку дома, и Анна Львовна вынуждена была пригласить Володю к себе. Конечно, она поступила опрометчиво, но что же было делать? Это на развратном Западе любовники запросто соединяются в любой гостинице — приходят и говорят: «Здравствуйте, мол, мистер дежурный администратор, мы, мол, супруги, я — Томас или там Альфред Гопкинс, а это моя законная жена, мадам Гопкинс. Разбудите нас через три часа». Паспортов у них никто не спрашивает, и они преспокойно отправляются в номер и там между делом хлещут коньяк. А которые побогаче, так те даже холостую квартиру снимают. А у нас в гостиницы только иногородних пускают, а если вы вдвоем и у одного из вас не те половые признаки, так сразу смотрят — есть ли в паспорте регистрация брака. А уж насчет квартиры... Тут дай Бог ее для законных отношений иметь, а не то что...

И все-таки надо как-то выходить из положения. Так вот, я советую: нужно нейтральную территорию подыскивать, нельзя к себе приглашать. И к ней или к нему тоже нельзя на дом ходить. Нельзя! Застукают жена или муж, а потом хлопай ушами, доказывай, что вы вдвоем программу КПСС обсуждали...

В среду Леонид Николаевич Княжицкий, сидя на службе, вспомнил, что он забыл дома, в ящике письменного стола, уникальные спичечные этикетки, которые собирался преподнести своему начальнику. Леонида Николаевича после долгих лет работы в отделе кадров перевели на крупную административно-хозяйственную должность, и необходимо было срочно установить личный контакт с начальником. Обеденный перерыв был на носу, и Леонид Николаевич решил быстренько смотаться домой, закусить там на скорую руку и привезти шефу подарок. Сказано — сделано.

Взобравшись на третий этаж, Княжицкий отпер своим ключом дверь, бесшумно притворил ее и на цыпочках двинулся по коридорчику. «Сейчас я ее напугаю», — с удовольствием подумал он. И, действительно, он ее напугал. Едва лишь под нажимом его руки скрипнула дверь в спальню, как оттуда раздался истерический крик Анны Львовны:

— Кто там?!!

— Анечка, это я!

И, спеша успокоить жену, Леонид Николаевич вовсе распахнул дверь...

...Мне в точности неизвестно, что именно почувствовал Леонид Николаевич, застав свою благоверную в ситуации, для которой, как пишут газеты, «комментарии излишни»; я в положении Леонида Николаевича, слава Богу, ни разу не был; а вот что переживал ни в чем не повинный Володя Залесский — это я очень хорошо знаю. Бр-р-р, вспомнить — и то страшно! Только что, минуту назад, было одно единственное желание, а теперь — ба-тюшки, сколько их! Да еще противоречивых, взаимоисключающих! И поскорей принять приличный вид хочется и крикнуть: «Я не виноват! Это все гражданка

ваша жена придумала!». И в окошко рад бы выпрыгнуть, и вспоминаешь, сколько этажей лифт отщелкал, пока ты поднимался, упрятав букетик в портфель, чтобы швейцар не заметил! И все думаешь: «Господи, только бы не по морде! ведь следы останутся!»

Леонид Николаевич стоял перед своим вдоль и поперек перепаханным ложем и молчал. Он краснел, он наливался гневным соком, и когда, наконец, стал цвета полного собрания сочинений В. И. Ленина (но не в третьем, а в четвертом издании), он шагнул вперед и скомандовал:

— Документы на стол!

Путаясь в штанах, Володя побрел к пиджаку, висевшему на спинке стула.

5.

Еще никогда за 30 лет существования МИНАП-а — актовый зал института не был так переполнен. Сюда собрались не только все учащиеся и вся профессура, но и представители райкома комсомола и райкома партии, и корреспонденты молодежных газет, и знакомые студентов и преподавателей. Стулья притащили из всех аудиторий и кабинетов, сидели на ступеньках эстрады и на подоконниках, толпились в дверях и проходах. Собравшиеся гудели; неизвестность распаляла воображение. Скромное сообщение, написанное чертежным шрифтом на куске ватмана, гласило: «26 марта в 5 ч. вечера состоится открытое комсомольское собрание. Повестка дня: персональное дело студента IV курса комсомольца В. Залесского». Сначала никто не знал, что, собственно, произошло, но потом, неизвестно как, просочился слух:

Володьку застукали с чужой женой! Легкомысленные сокурсники собирались устроить начальству обструкцию. Уязвленные сокурсницы были полны решимости осудить Залесского по всем канонам комсомольской морали. Старики-профессора оживились и, молодецки крикая, шопотом рассказывали друг другу о грехах молодости.

Но когда в зале появился известный всей Москве журналист — узкий специалист по вопросам комсомольской любви и дружбы, когда на эстраде залоснились упитанные физиономии райкомовских деятелей, когда появился сам директор института — лауреат многочисленных премий и доктор разнообразных наук, академик Оглоедов — тогда собравшиеся поняли, что готовится нечто из ряда вон выходящее.

Ах, эти последние минуты перед началом судилища, это затишье перед бурей! Уже собрались грозные тучи в темно-серых костюмах и светлых галстуках, уже глухо зарокотали баритоны над столом президиума, уже смолкли свист и щебет в гуще зала. Сейчас, вот сейчас, бешено сверкнут чьи-то очки со стеклами — замороженной луговой травой полягут слушатели на спинки стоящих впереди стульев, грянет гром, и на тезисы выступления прольются первые капли слюны...

Володя сидел у самой эстрады, и, несмотря на тесноту, рядом с ним с обеих сторон пустовали стулья... И вот — началось.

— Товарищи! в адрес комсомольского бюро института поступило заявление от работника одного из московских учреждений товарища Княжицкого. Разрешите огласить его: «Уважаемые товарищи члены бюро комсомольской организации! Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в антиобщественной деятельности вашего студента Залесского Владимира Альбертовича, 1935 го-

да рождения. Указанный Залесский Владимир Альбертович в среду 17 марта сего года в 13 часов 30 мин. по московскому времени был застигнут мною в моей собственной квартире в тот момент, когда он нарушил мою супружескую верность с моей женой Княжицкой Анной Львовной. Я как член партии с 1949 года не могу пройти мимо этого безобразного факта, что гражданин Залесский в этот момент должен был находиться на лекции по политэкономии социализма, что подтверждается расписанием лекций в вестибюле вашего института. А он вместо этого разрушал советскую семью находясь в совершенно раздетом виде, за исключением трикотажной майки-безрукавки. Но это еще не все, товарищи комсомольцы из московского института. На мой вопрос, зачем она это сделала и как дошла до жизни такой, моя жена Княжицкая Анна Львовна сказала, что сделала только ради семьи, что гражданин Залесский специалист по зачатию новорожденных мальчиков мужского пола. Это обман, недостойный советского студента и тем более комсомольца, потому что я консультировался с врачом 18 лет стажа, и он сказал, что наперед ничего не угадаешь. И еще моя жена, в скором времени бывшая, призналась, что гр. Залесский нарушил ей супружескую верность во второй раз, а первый раз на квартире у своей знакомой Кранц В. И., муж которой занимается шахермахерами по снабженческой части, а сало русское ест. И я считаю, что таким, как Залесский В. А., не место в советском институте и в рядах советского общества, идущего к коммунизму, как указывает программа. Княжицкий Л. Н. Прошу о решении сообщить по указанному адресу».

Невообразимый шум стоял в зале. Уже, примерно, с середины заявления читавшему пришлось напрягать голос, а к концу он просто кричал. Тщетно брякал проб-

кой по графину секретарь комсомольского бюро, тщетно воздевал он к потолку белые манжеты. Ревом, свистом, внеплановым весельем отозвалась аудитория на заявление оскорбленного мужа. Но всему на свете приходит конец, в слитном гуле, как в крепостной стене, стали появляться бреши, и в один из таких проломов ворвался старческий бас академика Оглоедова.

— Мне стыдно! — прогремел он. Аудитория утихла. — Мне страшно!, мне, наконец, страшно слышать, как вы, советские студенты, вы, молодые люди, вы, кто будет жить при коммунизме, как вы нигилистическим смехом встречаете крик человеческой души! Оскорбили и унизили нашего товарища, нашего соратника в деле созидания светлого будущего, унизили и оскорбили человека и гражданина, на каких весах взвесим мы чувство горечи, переполняющей сейчас все его существо. Какую меркою измерим мы зло, нанесенное обществу распадом семьи?! Ах, друзья мои! Пусть не блещет литературными красотами заявление товарища Княжицкого, пусть грешит он против незыблемых законов русской грамматики, но... Он, простой советский человек, обращается к нашим гражданским чувствам, к нашей советской морали — и он прав! Мы, в первую очередь мы, несем ответственность за то что просмотрели, проглядели в наших рядах человека с чуждой нам идеологией. Вспомните, как сказал Владимир Владимирович Маяковский: «Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен!» И подумать только, на какие уловки идут эти любители легких побед, эти современные Дон-Жуаны! Он, видите ли, может регулировать пол имеющего родиться ребенка! Советская, самая передовая в мире наука не может этого сделать, а он, студент Владимир Залесский — он может! Он постиг все тайны природы! Позор! Позор, товарищ Залесский, эти идеалистические ухищре-

ния нас не обманут, как обманули они жертву вашей распушенности. Наша общественность, наш здоровый молодой коллектив вынесет — я уверен в этом! — суровый приговор проходимцу, опозорившему стены нашего МИНАП-а!

Оглоедов кончил и сел, отдуваясь. В зале снова загудели, но уже без того веселого оживления, что раньше. Поступок комсомольца Залесского перед собранием встал во всей своей неприглядности.

— Слово имеет комсорг IV курса!

— Товарищи! — сказал комсорг. — Я буду краток. Посмотрите на него. Посмотрите на Владимира Залесского. Каков нравственный облик этого, с позволения сказать, комсомольца? Таков же, как и его внешний облик. А каков его внешний облик? Усики! Нейлоновая рубашка! Узкие брючки! А что скрывается под этими узкими брючками?!

— Что у всех, то и у меня скрывается, — мрачно сказал Володя.

— Нет, не то! Не то, товарищ Залесский! Мы не стилиаги! Мы не прикрываемся брюками! Нам нечего скрывать от общества!

— Это тебе, может, нечего скрывать! — раздался голос из задних рядов. В зале заржали.

— Я прошу прекратить эти демагогические выпады! Не ловите меня на слове! — обозлился комсорг. — Кто из студентов не явился на обсуждение романа Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев»? Залесский не явился. Кто на вечере 8 марта в пьяном виде сказал преподавательнице английского: «Вы — милашка»? Залесский сказал. Это кто ж ему дал право называть женщину «милашкой», как в каком-нибудь Чикаго? Где вы были,

товарищ Залесский, когда весь курс, как один человек, трудился на субботнике?

— Я был болен!

— А по чужим квартирам ходить — вы здоровы?!... Я предлагаю: исключить Залесского из комсомола! Выжечь его каленным железом из наших рядов! Поставить перед администрацией вопрос о пребывании Залесского в институте! Я кончил.

— Разрешите мне!

Из первых рядов поднялась молодая женщина. Это была аспирантка Ниночка Армянова. Близоруко щурясь, она улыбнулась председателю.

— Я хотела бы задать несколько вопросов студенту Залесскому. Скажите, Залесский, что побудило вас сделать это странное антинаучное заявление? Я имею в виду предполагаемый пол ребенка. Меня это интересует чисто психологически. Ведь не может же быть, чтобы вы сами верили в эту басню?

— Это не басня, — сказал Володя. Он оглянулся. На него глядело огромное многоглазое лицо собрания. Оно дрожало, дробилось, причудливо менялось, как стеклышки в калейдоскопе, переливалось насмешкой, сочувствием, злорадством и недоумением. «Сволочи, — подумал Володя. — Что делать? Ведь выгонят, с волчьим билетом выгонят»...

— Это не басня, — сказал он. — Никакой я не Дон-Жуан, а что брюки узкие, то это все носят...

— Не все, — перебил его комсорг. — Не все...

Но ему не дали говорить.

— Не мешай!

— Поговорил и хватит!

— Рассказывай, Залесский!

— Ти-ше! — надрывался секретарь бюро. — Говори, Залесский. Только по существу — о брюках мы и в газете прочтем, если надо...

— Я не Дон-Жуан, — продолжал Володя, — а если женщины просят, я отказать не могу...

На аудиторию пала лекционная тишина.

— Я, товарищи, обладаю такой способностью. Но я сам первый никогда не лезу. Они сами звонят и телефоны оставляют. У меня свидетели есть, — взвизгнул он неожиданно. — Спросите сами, если не верите! — он выхватил из кармана записную книжку. — Кранц Вера Ивановна — К6-32-11! Савченко Лариса Михайловна — Д7-11-81! Леселидзе Тамара Георгиевна — Ж2-37-19, добавочный 2-02! Хавкина Лия Эрнестовна... Ратнер Василий Сергеевич, спросить Ольгу Харитоновну... Все! не жалко... Мальчика, девочку — мне все равно...

Все время, пока читали заявление Княжицкого, пока гремел директорский бас, пока праведным гневом захлебывался комсорг IV курса и выкрикивал Володя Залесский, все это время парторг института, Дмитрий Петрович Бронин, сидел молча, чиркая карандашом в блокноте. То, что он услышал, не было для него новостью; недаром у него состоялся длительный разговор с обиженным Княжицким, недаром он беседовал с убитой горем Анной Львовной и посетил на дому Веру Ивановну Кранц.

С самого начала этой загадочной истории он чувствовал странное смятение и неуверенность — как поступить? Раньше чутье никогда не обмановало его, а сейчас он колебался, как колеблется игрок в «21», набравший пятнадцать очков: прикупать ли? Хорошо, если картинка или шестерка, а вдруг не то? Вдруг явится какой-нибудь туз и скажет: «Перебор! Перебор, товарищ

Бронин! Недодумали, перегнули палку!» Он набрасывал тезисы своего выступления, но мысли его текли сбивчиво и непоследовательно: «В то время как партия и вся наша общественность уделяют всемерное внимание укреплению советской семьи — а эта самая Княжицкая совсем даже недурна — поступок комсомольца Залесского находится в вопиющем противоречии со всеми этическими нормами — как же он все-таки это делает, чорт побери?! — глупейший предлог, которым он воспользовался, чтобы обмануть бдительность молодой женщины — надо было заставить парня выложить все его приемчики — нравственность — не пустое слово, и мы не позволим — в самом деле, родить мальчишку, а то «всем бы молодец, только девичий отец» — дело Залесского значительно глубже и серьезнее, чем это кажется с первого взгляда. Повторяя налепую выдумку о своих сверхестественных возможностях, Залесский льет воду на мельницу идеалистов, способствует распространению предрассудков, подрывает веру в правоту науки и, в конечном итоге, осуществляет идеологическую диверсию! — тоже не плохо устроился: бабы его кормят, поят; небось и деньжата переппадают? — я не сомневаюсь, что у Залесского была и материальная, денежная заинтересованность: такого рода типы ничем не брезгают, а я этой шлюхе 50 целковых отдал — таким не место в советском институте — как же он это делает? — стилига и тунядец — молодчага-парень! — заклеить — эх, мне бы! Я бы это дело не так поставил... Я бы...»

И вдруг Бронин замер, застыл с полуоткрытым ртом, внезапно осененный блистательной, гениальной в своей простоте идеей! Стараясь не шуметь, он выбрался из-за стола, на цыпочках прошел к заднему выходу, у дверей опасно оглянулся на президиум — а вдруг еще кого-нибудь осенило?! — И, выскользнув за двери, бегом пом-

чался по коридору к своему кабинету. Там он запер двери на ключ и набрал номер телефона.

— Попрошу товарища Волкова... Нет, нет, лично товарища Волкова. Да, срочно... Бронин говорит, парторг МИНАП-а... МИНАП — Московский Институт Научной Профанации... Да, да... Весьма срочно... Да, он меня знает... Благодарю вас...

Возвратившись в зал через десять минут Бронин убедился, что поспел во-время: заведующий кафедрой истории партии, седовласый недоумок, говорил благообразно, разводя руками:

—... пусть выйдет, пусть скажет. Раз он настаивает на своей, так сказать, избранности, пусть расскажет коллективу, в чем она, собственно, заключается. Прошу вас, товарищ Залесский.

Володя снова поднялся, но не успел он рта раскрыть, как встал Бронин и, выпрямившись во весь рост, отчеканил:

— Я категорически против! Пусть извинит меня многоуважаемый Валериан Викентьевич, но я считаю недопустимым предоставлять трибуну для пропаганды предрассудков! («Что, съел, старый дурак»). Нас, людей науки, совершенно не интересуют мистические домыслы Залесского. Сколько бы он не бил себя в грудь, как бы не стремился опорочить честных советских женщин-тружениц — это ему не удастся!... Я предлагаю устроить перерыв, — неожиданно закончил он. — А вы, Залесский, пока пройдите ко мне в кабинет...

И, наклонившись к представителю райкома партии, он шепнул в его насторожившееся ухо:

— Собрание придется прекратить. У меня только что был разговор с товарищем Волковым...

Через 20 минут в подъезде МИНАП-а подкатил черный ЗИМ. Бронин и Залесский сели в него.

ЗИМ прижал уши, присел на задние лапы и мягкими прыжками помчался вперед, разбрызгивая снежную кашу на сапоги милиционеров.

6.

— Ну что ж, товарищи, послушаем, что скажет наша медицина.

Профессор, высокий жилистый мужчина с загорелой плешью, откашлялся и, явно робея, начал:

— Мои коллеги поручили мне сказать вам, товарищи, результаты всестороннего медицинского обследования, произведенного нами над... простите, нам не сообщили фамилии пациента и даже, м-м-м, рекомендовали не интересоваться ею...

— Называйте его «человеком из МИНАП-а».

— Благодарю вас... Итак, освидетельствованный нами, м-м-м, человек из МИНАП-а, по нашему заключению, совершенно здоров. Сердце, легкие, кишечник, нервная система — в идеальном состоянии. Хорошо развит физически. Можно сказать, завидного здоровья молодой человек. Что же касается специфических особенностей, якобы проявляющихся при половых сношениях, то здесь мы, по всей вероятности, имеем дело с одним из видов психических заболеваний, связанных с сексуальным...

— Вы, товарищ профессор, скажите нам просто: допускает ли наука такое явление?

— Наука утверждает, что при совокуплении ни одна из сторон не может не только повлиять на пол буду-

щего ребенка, но и не в состоянии предугадать его. Что же касается средств, при помощи которых человек, э-э-э, из МИНАП-а регулирует по его словам...

— Погодите, товарищ профессор. Ознакомьтесь вот с этими документами.

— Сию минуту... Простите, мои очки... Ах, вот они... Так-с. «Протокол допроса»... Простите?

— Ничего, ничего, читайте.

— «...девочку, как и было обусловлено заранее. Копия метрического свидетельства прилагается... Родился мальчик, как он и обещал... Копия метрического свидетельства... Две девочки и мальчик — итого трое, столько, сколько нужно для получения квартиры... Копия метрического... Копия ордера на квартиру... Я, как страдающий импотенцией, дал согласие... Лучше чем на стороне... В моем присутствии... Копия»...

— Что скажете, товарищ профессор?

— Простите, я ничего не понимаю... Эти документы...

— Будьте спокойны, профессор: нарушений социалистической законности не было. Товарищ Волков, кто подготовил материалы?

— Подполковник Сазан и майор Прохоров, Павел Петрович.

— Объявите им благодарность.

— Слушаю-с, Павел Петрович.

— Так вот, профессор, факты есть, а научных объяснений мы пока что не слышим?

— «Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам».

— Что? Какой Гораций?

— Простите, это из Шекспира. Цитата.

— А-а. Ну-ка, расскажите нам, как он это делает.

— Сию минуту. Итак, больной... простите — человек из МИНАП-а утверждает, что каждый раз, когда происходит целенаправленный в смысле мужского пола coitus, то есть соитие, он усилием воли мысленно воссоздает облик...

— Ну?

— Облик, простите, Карла Маркса. Он — я только повторяю его слова — он так и выразился: «Основоположник научного социализма Карл Маркс»...

— Так. А если девочка?

— Тогда Клару Цеткин. Двум запланированным мальчикам соответствуют два облика Маркса, трем — три, и т.д. Мы провели ряд испытаний зрительной памяти пациента и получили, знаете ли, удивительные результаты: после двух-трех минут сосредоточенного рассматривания совершенно незнакомого ему лица человек из МИНАП-а дает абсолютно точный словесный портрет. Если принять за рабочую гипотезу, что он действительно может влиять на пол ребенка, то достойно удивления следующее: как он может в эти минуты думать о чем-то постороннем — Марксе? — То есть, я, разумеется, хочу сказать — постороннем в данной ситуации. Трудно в такой момент отвлечься, так сказать, эмансипироваться от... предмета наших усилий — не так ли?

— М-да, трудновато... А что он говорит — как он додумался до этого?

— Видите ли, он объясняет это так: в раннем детстве, когда он спросил у родителей, как рождаются дети, — очень распространенный, знаете ли, вопрос у детишек! — ему сказали, что если упорно и настойчиво думать о мальчике или девочке, то они и родятся. Со временем он получил научные сведения о деторождении в

популярной, разумеется, форме. И вот, когда он впервые сошелся с женщиной, в первое свое «взаимоотношение», как он выразился, он вспомнил это детское свое представление и, шутки ради... попробовал. А так как воображать абстрактного мальчика было трудно, то он представил себе конкретного Маркса — с бородой, манишкой, лорнетом и прочим.

— А как он проверил это?

— Аборты. После трех месяцев плод имеет ярко выраженные половые признаки. Он — человек из МИ-НАП-а — утверждает, что за все время у него была только одна ошибка: вместо Клары Цеткин ему представился писатель Федор Гладков. Конечно, мы отнесли к его объяснениям скептически, но ведь мы не были знакомы с этими документами...

— Так. В общем, товарищ профессор, картина ясная. Спасибо, мы вас не задерживаем. Работайте, трудитесь, если что понадобится — обращайтесь прямо ко мне, товарищ Волков, проводите профессора.

Профессор на негнущихся ногах зашагал к выходу. За дверью послышалось его громкое «УФ»!

— Ну, что ж, товарищи, я думаю, надо делать практические выводы. Мы должны подойти к этому расчетливо, по-хозяйски. Первым делом надо выяснить, сумеет ли он обучать других. Если сумеет — тогда мы сможем перейти на планированное деторождение. Уточнить цифры выпуска одежды, обуви, бюстгальтеров и дамских велосипедов. В течение 18-20 лет устранить разницу в количестве женщин и мужчин. Чтоб всем было по потребности. А за безбрачие — под суд! Так я говорю, товарищи? Если не так — подскажите, поправьте. Иван Петрович — выскажись! Василий Семеныч! Правильно я говорю?

— Правильно, Павел Петрович! Грандиозные перспективы развития... А если, кроме него, никто не сможет?

— Волков бояться — в лес не ходить, а уж если... Что ж подумаем, посоветуемся. У нас человек не пропадет, найдем ему место, используем. В малых масштабах используем... в узком кругу. Мы ведь народ занятой, да и годы наши не те. А если у нас дети родятся — это будет иметь ба-а-льшее политическое значение! Это будет воспринято как новое свидетельство нашей силы, нашей мощи... м-да... А он парень наш, советский, комсомолец! ...Кормить его надо получше... Мяса, мяса ему! Товарищ Волков, распорядитесь.

— Слушаюсь, Павел Петрович.

— Трофим Денисович, а ты чего молчишь? Как тут с философской точки зрения? Идеализма нет? Я про методы его.

— Что вы, Павел Петрович! Тут диалектика: базис влияет на надстройку — то есть, социалистические условия жизни влияют на его сознание, а надстройка, то есть его сознание, влияет на базис — то есть на зачатие, на материальный, на биологический процесс. Опять же не ктонибудь, а Карл Маркс...

— Итак, товарищи, организацию этого дела мы поручим...

7

Вот так и превратился Володя Залесский в «человека из МИНАП-а». Из грандиозных экономических планов ничего, к сожалению, не вышло. Талант юноши оказался уникальным, вроде таланта Паганини. И хотя на ве р-

х у уже представляли себе заголовки в газетах вроде «Проект поправок к семилетнему плану развития народного хозяйства, принятый на основе выдающихся достижений советской науки», «Впервые в истории человечества», «Советский человек управляет биопроцессами», «Новое торжество марксистской философии» — но ото всего этого пришлось отказаться. Впрочем, ученые-генетики высказали предположение, что необычайные способности человека из МИНАП-а могут передаваться по наследству. Что ж, поживем-увидим.

А пока Володя живет на подмосковской даче; там он ест, спит, занимается спортом и смотрит телевизор под наблюдением врачей. Время от времени за ним присылают машину, и он едет выполнять свои обязанности.

Одно время он интересовался: к кому его возят? Все спрашивал, спрашивал, пока один из охранников не сказал ему:

— Ты, парень, делай свое дело да помалкивай. Зачем тебе фамилии? Если что случится, с тебя и спросу нет. А будешь много знать — «а, скажут, слишком много знает, пожалуйста бритесь!»! А так твое дело телячье — пожрал и на бок!

И Володя замолчал.

Живется ему неплохо, хотя и скучновато. И лишь одна мысль омрачает его существование: что будет, если он утратит свое дарование? Институт-то он так и не кончил. А сейчас без образования — ой, как трудно!

ИСКУПЛЕНИЕ

Я соглядатай между вами,
Я слушаю, когда в тревоге
Вы рассуждаете о ванне,
О домработницах, о Боге.

О, милые, и я такой же,
Интеллигентен и тактичен,
Но вот — рванет мороз по коже
И на полях наставит птичек.

И я предам вас, я предам вас!
За что? За то, что в час вечерний
Случайно вспомню я про давность
Вражды художника и черни.

И л ь я Ч у р
«Товарищам интеллигентам».

Наступило время блатных песен. Медленно и постепенно они просачивались с Дальнего Востока и с Дальнего Севера, они вспыхивали в вокзальных буфетах узловых станций, Указ об амнистии напевал их сквозь зубы. Как пикеты наступающей армии, отдельные песни мотались вокруг больших городов, их такт отстукивали дачные электрички, и, наконец, на плечах реабилитированной 58-й они вошли в города. Их запела интеллигенция; была какая-то особая пикантность в том, что уютная беседа о «Комеди франсэз» прерывалась меланхолическим матом лагерного доходяги, в том, что бойкие мальчики с филфака толковали об аллитерациях и ассонансах окаянного жанра. Разрумянившиеся от ледяной водки дамы вкусно выговаривали:

«Ты, начальник, ты, начальник,
Отпусти до дому...»

А если какая-нибудь из них внезапно вздрагивала и пыталась проглотить словцо до сей поры бесполезно лежавшее в ее лексиконе, то всегда находился знаток, который говорил:

— Душа моя, это же ли-те-ра-ту-у-у-ра!

И всё становилось ясно. Это превратилось в литературу — безумный волчий вой, завшивевшие нательные рубашки, язвы, растертые портянками, «пайка», куском глины падавшая в тоскующие кишки. . .

Но бывало и так, что кто-то из этих чистых умытых, сытых людей вдруг ощущал некое волнение, некий суеверный страх: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликаю? Ведь вот оно, встающее из дальнего угла комнаты, опустившее, как несущественную деталь, традиционный ночной звонок, вот оно, холодным, промозглым туманом отделяющее меня от сотрапезников, влекущее «по тундре, по широкой дороге» под окрики конвойных, под собачий лай. . . Зачем, зачем я улыбаюсь наивности этих слов? Это же всерьез, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все! . . . Возьмут винтовочки взведут курки стальные и непременно убьют меня. . . Тьфу, напасть!»

И я (это я о себе пишу) встряхивал головой, выпивал очередную рюмку и трогал колено чужой жены, сидевшей рядом со мной.

А песня звучала, песня шла под улыбку, и зловещие тени уползали из комнаты, через переднюю, на лесничную площадку.

И оставались там.

1.

В буфете не продавали пива, потому что в фойе шла лекция о полупроводниках. Так распорядился директор кинотеатра из уважения к науке. Буфетчица, пятнистая от возмущения (у нее срывался план), шмякнула на поднос бутерброд с засохшей семгой. Я жевал семгу и разглядывал фойе. Кинотеатр был третьесортный, и новейшие веяния его не коснулись: по стенам попрежнему висели портреты передовиков производства. Пожилой лектор уныло и невнятно бормотал что-то десятку-другому слушателей, вре-

мя от времени показывая какие-то, с виду пластмассовые
штуковины.

У Ирины после работы было какое-то профсоюзное со-
брание, отчетно-перевыборное, что ли, и мы могли встре-
титься только в восемь. Ну, что ж, до начала сеанса пол-
часа, картина — часа полтора, минут двадцать пешком до
Курского — время можно растянуть. Только бы на знако-
мых не нарваться. Хотя, впрочем, третий лишний — не
всегда лишний. Этот третий дает возможность говорить с
невинным видом такое, от чего у Ирины вздрагивают губы,
можно острить, балансировать на тонком словесном кана-
те — а вдвоем эта игра не имеет никакого смысла. Вообще
трудно стало с Ириной. Той последней, окончательной бли-
зости, которая дала бы толчок новым отношениям, еще нет,
а обо всем остальном уже переговорено: о детстве, о вой-
не, об эвакуации, об общих знакомых. Дырки в разгово-
рах хорошо затыкать поцелуями, но куда спрячешься от
людей? Зимой холодно, а теперь темнеет так поздно, что
поневоле приходится вести себя благопристойно.

Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая
всё-таки у большинства женщин некрасивая походка! Ра-
ботают много, что ли? Вот цыганки — те все, как одна,
идут — плывут, только юбки вьются. . .

Все звучат, звенят, зовут и не кончаются
Речи смутные, как небо в облаках.
И идут-плывут цыганки, и качаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Это Мишка Лурье поет под гитару — здорово поет.
Жаль, что я так не могу. И какой это идиот выдумал, что
гитара — мещанство?

Лениво и равнодушно оглядывал я лица, разноцвет-
ные и одинаковые, как булыжник мостовой, и вдруг задер-

жался взглядом на одном из них. Что-то остановило меня — и даже не то, что человек смотрел на меня в упор, а какая-то напряженная, болезненная гримаса. Лицо было чем-то знакомо — узкими, широко расставленными глазами, нервной одухотворенностью, нездоровой желтизной кожи. Кто бы это мог быть? Я горжусь своей памятью на лица. Но тут я никак не мог вспомнить. Ясно одно — знакомство давнишнее. Ну, что ж, сейчас узнаем. Я встал, отряхнул крошки с пиджака. Встал и человек, смотревший на меня. Улыбаясь ему, я двинулся вперед. Но человек протянул руку женщине, сидевшей рядом, и они оба зашагали по направлению к курительной. У самых дверей он повернул голову и снова пристально, без улыбки, останавливая взглядом, посмотрел мне в глаза, как бы говоря: «Да, да, это не случайность, я специально ухожу, чтоб не разговаривать, не встречаться. Да, мы знакомы, я тебя узнал, но ты ко мне лучше не подходи». Он отвернулся, пропустил в дверях спутницу и вышел.

Я стоял почти посреди фойе, улыбаясь по инерции. Потом пожал плечами и вернулся на свое место. Черт-те что!

Ощущение было такое, как будто меня ни за что, ни про что обругали. Этот человек вел себя так, словно я враг ему. А у меня врагов никогда не было. Я никогда никому не сделал зла. Даже женщины, с которыми я расставался, никогда ни в чем меня не винили, хоть и горевали. А этот человек... Ну, ладно, черт с ним! Может, вообще всё померещилось?

Когда сеанс закончился, я снова увидел эту пару в толпе, спускавшейся по лестнице. Женщина — очень красивая, с надменным лицом и длинной, вопреки моде, косой — говорила без улыбки:

— Фильм так плох, что даже хорош. Какая-то прямо первобытная глупость, идиотизм без изъяна, без проблеска

— совершенство своего рода. . . Право, давно я не получала такого удовольствия от кино. . .

Ее спутник что-то бормотнул невнятно, остановился, закуривая, толпа подтащила меня к ним, мы снова посмотрели друг на друга, и мой, должно быть, недоумевающий, вопросительный взгляд столкнулся с отстраняющим прищуром незнакомца. Или знакомца? А ну его к черту! . .

. . .Электричка отгрохотала. Мы шли, переплетя пальцы, тесно прижавшись. И хотя я видел только нос, кусочек щеки и краешек полуоткрытого рта, она была видна мне вся — длинноногая, стремительная и узкая, словно копье, набирающее высоту.

— Пусти, — сказала она. — Нельзя так. Кругом народ.

— Это тебе мерещится, — ответил я. — Никого нету.

— Как же, никого. А вот этот, толстый, — он мне тоже мерещится?

— Сейчас проверим. Простите, гражданин, вы — фикция?

— Чево? — спросил толстяк.

— Витька, ты с ума сошел!

— Извините, я ошибся, думал — знакомый.

Платформа, пивной ларек, хлебный ларек. Дача, дача, магазин, дача, парикмахерская, дача. Мимо, мимо. Песок под ногами — плотный, утрамбованный, перемешанный со щебнем и шлаком. Как ладно шагают ноги, как легко несут они тела, как близко щеки. Какая смесь силы и нежности, как солнце воткнуло в землю рыжие сосны, как сухо и светло в лесу! Ладони, наполнитесь! Господи, Ты есть, ведь не может счастье быть ниоткуда! Ведь не могут же без чьей-то доброй и умной воли захлестнуть меня эти плечи, колени, груди!

— Не надо — сказала она.

Утреннее море было как плохо выстиранная и невыглаженная простыня. Моторная лодка шла на восток, к не вставшему еще солнцу. Мотор трещал, пассажиры кричали, какие-то дети хлопали в ладоши, и всё это было совершенно беззвучно. Я крикнул, чтобы услышать свой голос. Никто не обернулся, и сам я себя не услышал. Тогда я стал заглядывать в лица своим попутчикам, но они не замечали ни моих взглядов, ни того, что не слышно голосов. «Куда же мы приплывем, если не слышим друг друга? — подумал я. — Надо жестикулировать. Надо азбуку глухонемых». Я стал приставлять пальцы к носу и подбородку, щурить глаза, двигать нижней губой — но меня никто не понимал, хотя я изображал очень простую фразу: «Товарищи, почему ничего не слышно?» Отчаявшись, я махнул рукой и стал смотреть на мягкую и мощную мускулатуру воды за кормой. Лодка неслась всё быстрее, люди говорили всё горячее и громче — это было видно по артикуляции, волны перестали быть похожими на борцов и превратились в боксеров, краешек солнца показался над горизонтом. «Сейчас мы опрокинемся, — подумал я, — мы опрокинемся, если не услышим друг друга». «Мы опрокинемся!» — крикнул я, преодолевая свою и чужую глухоту. Звонко лопнула пленка в ушах, я услышал свой крик, и все другие — тоже, но было уже поздно: боксер вошел в клинч с лодкой, ударил ее в солнечное сплетение, она согнулась пополам, потом два крюка справа и слева, всё рассыпалось, и, уходя под воду, я увидел накатившийся на волны багровый шар солнца. . .

Какое счастье просыпаться после страшного сна, после смерти и гибели! Медленное воскрешение из мертвых, тающий туман небытия, жизнь, снова прихлынувшая к телу. Только что, секунду назад, ты чувствовал, как превраща-

ешься в ничто, и тебя охватила последняя, самая страшная мука — ужас умирания не готового к смерти, ты знал, что умер, — и вот ты спасен. Мы оставляем себе счастье пробуждения и торопимся забыть о смертной тоске, о том, что нас предупреждают. . .

Я взял папиросу, глянул на часы. Ого, уже восемь вечера. Сегодня на работе я весь день задремывал, а когда пришел домой, прилег на минутку — и два часа проспал. Еще бы, ведь вернулся-то на рассвете.

Я вскочил с дивана, включил электробритву. Я бреюсь по вечерам. Ведь заранее никогда не угадаешь, как обернутся дела. Случилось же как-то, что я пошел небритым в одну компанию, а там была одна такая Тонечка, и я ее провожал, и зашел к ней, и остался у нее, и всё время чувствовал, что небрит, и это здорово мне мешало. Тонечка, правда, говорила, что в мужской небритости есть, мол, даже какая-то привлекательность, но мне всё равно было неловко. Да и не все женщины по-тонечкиному рассуждают. . .

Мы встретились с Мишкой Лурье у метро «Дворец Советов». Было время свиданий, и парочки, как всегда, бродяжили у дощатого забора, окружавшего котлован. Интересно, выстроят здесь что-нибудь, или эти ямы так и останутся памятником взорванному Храму Христа-Спасителя? Сколько же лет торчат тут доски, заклеенные афишами.

— Мишка, когда взорвали церковь?

— Какую церковь?

Мишка рассказывал последние сплетни о кинофестивале — и о том, как к великому смущению и конфузу, первую премию присудили Феллини. «Восемь с половиной!» — бубнил он. — Переполох, скандал! Никто ничего не понимает». Сейчас он был очень недоволен, что я его перебил.

— Ну, в 34-м году взорвали. Ты слушай, что было дальше. . .

29 лет назад взорвали храм. Вопреки поговорке, свято место пусто. Конечно, спору нет, пользы от церквей — кот наплакал, они — архитектурные памятники, не больше, но всё-таки. . . Взорвали Бога, а взрывной волной ранило, контузило человека. Глухота, немота. . . Гной течет из-под бинтиков, из-под статей о гуманизме. Правда, врачи говорят: «Гной течет — рана очищается». Что ж, посмотрим. Впрочем, мне-то зачем забивать голову всем этим? Что мне — больше всех надо? Я чист перед людьми. Есть работа — не очень хорошая, но и не мерзкая, есть жилье, здоровье, деньги. . . Да, вот с деньгами худо. Как ни крутись, а в зарплату не уложишься. Особенно последние года два. . .

— Стоп, пришли!

Мы подошли к новому дому. Рядом стояли забавные домишки с деревянными колоннами, особнячки с резными ставнями, свежеразкрашенные заборы, даже какая-то пузатая чугунная тумба.

— Мишка, что это за тумба?

— Эта? К ней в старину лошадей привязывали.

Всё-то он знает, собака. Впрочем, кому ж и знать, как не ему — на то он и искусствовед. Я похлопал ладонью по теплому металлу и пошел вслед за Мишкой.

В доме Ряженцевых я был не в первый раз, хорошо знал и хозяйку, и многих гостей. Здесь редко собирались просто так — выпить и потрепаться, а почти всегда был какой-нибудь «герой вечера». Случилось и мне быть в этой роли, когда я вернулся из поездки в Польшу. Тогда «на меня звали». А сегодня звали на Брынского, он будет стихи читать. Любопытно, что за стихи? То, что его не печатают,

разумеется, ничего не значит. Стихи вполне могут оказаться никудышными.

Стихи, однако, оказались занятыми. Да и сам Брынский очень хорошо держался, не заискивал и не важничал. Он охотно замолчал, когда Мишка Лурье, хватив очередную рюмку, заявил:

— Ребята! Хватит изящной словесности. Давайте песни петь.

И он взялся за гитару.

— Мишка! «Цыганок»!

— «Матрешку», Мишенька!

— Мишка, «Бутылку в море»!

— Я спою «Цыганок», — сказал Мишка, подкручивая колки.

Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,
Сердце бедное у зависти в руках,
Только гляну, как цыганки закачаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка пел, убежденно глядя в угол, и всем почудилось, что и в самом деле оттуда вышли цыганки и поплыли по натертому паркету, задевая пышными оборками книжные полки.

Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые,
Из каких-таких просторов забрели,
И давно ли вас кибитки — лодки утлые
До московских тротуаров донесли?

Кое-кто начал подтягивать, но Мишка нетерпеливо мотнул головой. — Не мешайте, мол.

Отвечают мне цыганки — юбки пестрые:
— К вольной воле весь наш век мы держим путь,
А захочешь — мы твоими станем сестрами,
Только всё что было — не было, забудь!

Ах, забыть бы «всё, что было — не было», уйти, убежать за кибиткой кочевой, за детьми природы, под звуки Чайковского, под ритмы Пушкина, под всхлипы Лещенко! Ах, мечта, милая сердцу! Вот так и снялся бы с места российский интеллигент, вот так и пошел бы, пыля по дороге лаковыми сапожками, сморщенными в гармошку! Ах, Стеши, Груши и Параши! Не забыть подписаться на Эренбурга, холодильник через три дня выкупить надо — опять деньги занимать. . . Эх, жги-говори!

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу
К вольной воле заповедные пути,
Да не двинуться, не кинуться, не броситься,
Видно, крепко я привязан — не уйти».

Мишка почти плакал под гитару. Все улыбались застенчиво и сконфуженно. В самом деле, хорошо бы — а куда денешься? Кругом профорги, парторги, Мосторги — эх!

Да все звучат, звенят, зовут и не кончаются
Речи смутные, как небо в облаках,
И идут-плывут цыганки и качаются
На высоких, сбитых набок каблуках.

Мишка оборвал последний аккорд, как свечу задул.

Хорошо! — сказал Брынский. — Это вы сами всё придумали — и музыку, и слова?

— Сам, — буркнул Мишка недовольно: он почему-то стеснялся своего сочинительства и пел, только когда выпьет.

— Ну, пожалуйста, еще, — защебетали женщины, — «Матрешку», Миша!

Это была песенка о Матрешке. Семь деревянных русских красоток помещались друг в друге. Они все были разного цвета, каждая из них завлекала, улыбалась маняще: «А душу мою ты не понял! Загляни-ка внутрь!»

Я одна в другой, я одна в другой,
Полюби меня дорогой!
Да не ту, что здесь, а вон ту — внутри,
Посмотри в меня, посмотри!

Он не успел начать второй куплет, как раздался звонок. Явились новые гости, и, когда они, трое, вошли в комнату, в двух из них я узнал вчерашнюю парочку из кино.

— Знакомьтесь, — сказала хозяйка, — это мои милые хостинские друзья: Ася и Феликс Черновы. . .

Феликс Чернов! Я сразу же вспомнил озеро Селигер, палатки на берегу, плеск воды под веслами, веселый галдеж с утра и фронтовые песни по вечерам — тогда их еще пели. И Феликса Чернова — узкоглазого, веселого студента-зоолога, который шокировал дурочек-первокурсниц рассказами о многобрачии у животных. Остряк, актер, импровизатор — как он нравился мне тогда. Да и не одному мне — он для всех был героем тех двух недель на Селигере. Ведь мы потом и в Москве собирались несколько раз той же компанией. А потом я уехал по назначению и за годы, проведенные вне Москвы, я перезабыл имена и адреса тогдашних приятелей. . .

Третьего, пришедшего вместе с Черновым, я знал: это был Владимир Семенович Игольников, писатель, прозаик. Мы с ним не то чтобы дружили, а издали симпатизировали друг другу; у меня был даже его сборник с дарственной надписью.

Все трое на мгновение остановились у двери, потом Чернов сделал движение обойти всех и пожать каждому руку, но тут он увидел меня. Он сделал общий поклон и сел на свободное место. Игольников и жена Феликса тоже сели.

— Мы, кажется, пение прервали? — сказал Игольников.
— Не сердитесь, Миша, продолжайте.

— Я всё равно сбился, — ответил Мишка не очень лю-

безно. — Давайте лучше перервемся и тяпнем с новоприбывшими.

Все дружно выпили; Игольников грустно сказал:

— Такова моя горькая участь. Стоит мне где-нибудь появиться, и сразу прекращаются все умные разговоры, искусства и науки разбегаются, как тараканы. . .

— Так это же здорово! — сказал я. — Вы счастливый человек, Володя. А окружающие как довольны! Легко ли вести интеллектуальные разговоры. . .

— Витя, вы художник, для вас интеллект не обязателен, даже вреден. А я — инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей. А где ее уловишь, душу-то, когда только и слышишь: «А ну, тяпнем!», «Эх, хорошо пошла!», «А не повторить ли нам?»

— Владимир Семенович, так ведь тяпнувшую душу легче улавливать!

— Это трезвому легче, а ведь я. . . В общем, ясно.

— Друзей у вас слишком много.

— Друзей у меня — вся Москва. Размеры этого бедствия будут видны, когда я помру. «Литературка» поместит объявление о смерти члена Литфонда В. С. Игольникова, и случится то же самое, что на похоронах великого вождя и учителя. Причем давить друг друга будут люди, знакомые между собой. Эх, жаль, увидеть не придется!

— Да будет вам, Владимир Семенович!

— Что это вы, Миша, меня по отчеству титузуете? Вы не смотрите, что я толстый — я еще молодой. Отчество, знаете ли, определенные обязанности накладывает. А в наше время обязанности иметь хлопотливо, да и небезопасно. Это все, даже не понимая, нутром чувят. Поэтому и отчество у нас отмирает. Загляните ну хотя бы в Тургенева или в До-

стоевского: мальчишку, вчерашнего школяра, называют Аркадий Макарович, девуцу семнадцати лет — Зинаида Борисовна или Петровна, а ее бы по всем статьям Зинойкой звать. Вот мы здесь все вокруг сорока лет крутимся, а только меня за толстое брюхо Семенычем обзывают. . .

Он много еще балагурил, Игольников. В конце концов все вылезли из-за стола, стайками разбрелись по углам, по диванам, по другим комнатам.

Я выбрал момент, когда Чернов остался один, и подошел к нему.

— Слушайте, Феликс, я никак не пойму, вы узнали меня или нет? Ведь мы с вами были знакомы в. . . дай Бог памяти. . .

— Вас да не узнать! — Чернов усмехнулся. — Мы с вами встречались в 51-м году, с августа по октябрь.

— Как это вы так сразу дату вспомнили?

— А мне ее и вспоминать не надо. Я ее всегда помню. В октябре 51-го меня посадили.

— Вот как? А я и не знал.

— Да? А ведь у нас было много общих знакомых, — сказал Чернов.

— Дело в том, что, примерно, тогда же я уехал из Москвы, по назначению, в Воронеж. Я там в художественной школе преподавал. . .

— Вы, я вижу, уже подружились? — к нам подошла Нина, хозяйка дома.

— А мы старые друзья, — опять усмехнулся Феликс.

— Вот и чудно, вот и хорошо! Но послушайте, нельзя так уединяться. Идемте, идемте, сейчас Миша опять будет петь.

Но в другой комнате не пели. Там царил Игольников. Он стоял как монумент, и, расставив ноги и заложив руки в

карманы, сокрушал авторитеты. Бог мой, кому здесь только не доставалось! Он громил ученых за вмешательство в политику, писателей — за то, что они не вмешиваются, государственных деятелей, кинематографистов, кибернетиков и скульпторов.

— Как слепые! — шумел он. — Как слепые, прут куда-то в сторону. Ну стоит ли писать, рисовать, лепить о том, что люди делают?! Надо о том, что они могут сделать! Что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие. Я утверждаю — произнес он с расстановкой, — я утверждаю, что это чувство — ощущение вины — живет сейчас в каждом интеллигенте. Вины за несодеянное!

— Не понимаю, — сказал я. — А если человек — я, предположим, — ни в чем не виноват? Почему я должен терзаться?

— Вы действительно ничего не понимаете, Витя. — Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых, — и это самое главное — вы виноваты в том, чего не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы абортотворения — начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш?

— Фу, — сказала Нина.

— Не фыркайте, Ниночка. Я не буду говорить о том, что я мог бы сделать всерьез. Действительно важное и нужное, для многих людей. Да, не стоит — это было бы напыщено. Вот взять, казалось бы, пустяки: я не могу простить себе, что в свое время не написал, не пришел к таким людям, как Пастернак или Зощенко. Да-да, я понимаю, вас, снобов, шокирует это сопоставление. Дело не в этом. Никогда, вы понимаете, ни-ко-гда я уже не смогу сказать им, как я им благодарен, как счастлив, что я их

современник. Или другое: я не написал ни одного письма своему другу, когда посадили его родителей. И не от трусости, нет! Просто я не люблю писать письма, не люблю эпистолярного жанра. И я, скотина, не сделал исключения для него. А ведь тогда одно мое письмо было важнее, чем всё наше общение потом. . . Эх, да мало ли!

— Владимир Семенович, а как всё это с вашим писательством согласуется?

— Как согласуется? Никак не согласуется! Ни хрена не согласуется. . . Дамы, простите. В том-то и штука, что в работе — разумеется, в той работе, за которую гонорары платят — так вот, в этой работе у меня принцип один есть. Нет, братцы, я не продался — я смирился. Не знаю, правда, что хуже. . .

— Какой принцип? — спросил Феликс.

— Что? Ах, да, принцип. «Не вреди». Это медицинская заповедь — «не вреди». Заповедь хорошая, заповедь чудесная, римских врачей заповедь; но, дорогие мои, с римских-то времен медицина куда шагнула, а? Хирургия, рентген, антибиотики! Мать честная! А я литератор, к временам Цинцината, блаженного Августина, Марка Аврелия и еще черт знает кого — я к этим временам возвращаюсь! И когда? В наши дни! В наши необычайные дни! В наши смрадные дни! Что — небось, не знаете, эрудиты?

Он протянул руку и, отбивая такт, скандируя, произнес:

— «В наши смрадные дни никуда не уйти от гримас и болячек родной политики». Лесков это, Лесков, пижоны!

Он был уже здорово пьян. Феликс Чернов взял его под руку:

— Владимир Семенович, хватит. Всё это суета сует и томление духа. И. . . неуместно, ненужно.

— Феликс, милый! Зачем ты мне мешаешь? Ты же солдат, ты же должен понимать!

— Ну, какой я солдат! Я и в армии-то не служил.

— Всё равно, ты сидел, а солдат и зека всегда друг друга поймут... Давай блатные песни петь!

Пели блатные песни. Допивали водку. Брынский опять читал стихи.

Слова, как пули, ложатся кучно
В сердце, прикрытое только кожей.
Кто пожалеет меня, измученного?
Ну, не стреляй же хоть ты, прохожий!

Когда мы вышли на улицу и Феликс, поймав такси, стал усаживать в него Игольникову, я тронул его за локоть и сказал:

— Феликс, давайте увидимся на-днях. Поболтаем, старину вспомним. Вот, — я вырвал листок из записной книжки, — вот мой телефон. Позвоните мне, ну, хотя бы в четверг после шести.

Феликс взял бумажку и сказал — очень медленно:

— У вас потрясающая выдержка, Виктор Вольский. Прямо зависть берет. Ну, что ж, я позвоню.

3.

Я смотрю на мое прошлое сквозь цветные стеклышки прожитых лет, и оно непостижимо окрашивается в радостные зеленые, синие и розовые тона. Я должен сделать усилие над собой, чтобы восстановить истинный колорит событий и впечатлений, людей и времени. Но даже если мне это удастся, я не могу восстановить свое тогдашнее отношение. Я помню демонстрацию где-то около Стретенских

ворот, ликующую демонстрацию по поводу смертного приговора героям процесса не то 37-го, не то 38-го года. Люди шли с лозунгами и портретами Ежова, шли от Колхозной площади к Лубянке. Странно, кстати, как всё перевернулось: Лубянка тогда уже называлась площадью Дзержинского, а Колхозная площадь, кажется, еще не была переименована, а вот ведь никак не могу вспомнить старое название. Слово «Лубянка»-то не забывается. Так вот, я посмотрел на демонстрацию, пришел домой и процитировал (я был начитанный мальчик): «Пристойно ли, скажите, сгоряча смеяться нам над жертвой палача?» Я ничего особенного не имел в виду, просто цитата показалась мне подходящей. Родителей так и перекосило. . . Какого цвета была эта демонстрация? Наверно, черного, а мне она помнится яркожелтой — был солнечный день. Я упорно и много раз восстанавливал серый осенний денек, поникшие кресты деревенского кладбища и себя, шестнадцатилетнего, первый раз в жизни берущего женщину. Как всё это было серо и непохоже на книжки! Но время, доброе время зеленил траву и проясняет небо, в нежный румянец окрашивает щеки двадцатичетырехлетней распутной бабенки. Ах, какой он колорист — сегодняшний день! Как он всё переиначит, переделает!

Тогда, на Селигере, всё было синё, зелено, оранжево, а после встречи с Черновым воспоминания подернулись странной черно-багровой дымкой, тревожной и нерадостной. К чему была эта загадочная фраза о моей выдержке? Почему он себя так странно держит?

В четверг я ловил себя на том, что с нетерпением жду, когда, наконец, часы отстукают шесть. В конце концов, что это за манера? Если я ему неприятен, если он не хочет видиться со мной, пусть скажет прямо. А эти многозначительные ужимки. На кой ляд они нужны. . .

Феликс позвонил в пол-седьмого. Когда я пригласил его прийти, он отказался. К себе он тоже не позвал, а сказал, что можно встретиться через час на Арбате, у памятника Гоголю.

Около Гоголя шумели дети. Я оглянулся. Феликса еще не было. Я закурил и неспеша пошел вокруг памятника. Я остановился, разглядывая надпись, выбитую на постаменте, когда вдруг услышал женский голос, сказавший по ту сторону каменной фигуры.

— Фелька, ты всё-таки с ним поосторожнее. . .

— Не беспокойся, — ответил голос Феликса Чернова, и в то же мгновение он и его жена вышли мне навстречу. «С ним» явно относилось ко мне, но они ничуть не смутились, а наоборот, уставились на меня так, как будто это я должен смутиться.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Привет, — отозвался Феликс. — Ася, ты иди. Я долго не задержусь.

Она, так и не поздоровавшись и не попрощавшись, ушла. Мы оба глядели ей вслед. Она была очень красивая, и хотя я уже давно не писал портретов, мне захотелось попросить ее попозировать.

— Ну-с, где мы устроимся? — произнес Феликс.

Я молча глядел на него.

— Видите ли, я подумал и решил, что нам, действительно, нужно поговорить. Причем наедине. Это, кстати, в ваших интересах.

— Вы держите себя, как дипломат, собирающийся предъявить ультиматум, — сказал я.

— Это так и есть, — ответил Феликс без улыбки.

Мы сели на свободную скамейку. Недалеко от нас толстая девочка в комбинезоне воздвигала какое-то соору-

жение из песка. «Нюр-р-ра, смотр-ры!» — кричала она, раскатываясь на букве «р», и дергала за рукав няню. Мы некоторое время следили за девочкой. Песок осыпался. Феликс потер лоб и заговорил:

— Я вам уже сообщил, что меня арестовали в октябре 51-го года, вскоре после нашего с вами знакомства. Само по себе это совпадение не имеет значения. После этого не значит вследствие этого, — так утверждают логики. Но дело в том, что на следствии мне были предъявлены обвинения в злостной антисоветской агитации и был процитирован целый ряд моих высказываний. Источником такой доскональной информации могли быть только вы, Виктор Вольский. Подождите, не вскакивайте. Вы же человек с самообладанием. Я поясню вам. Мне предъявили почти дословную запись моих суждений о логической стороне выступлений и статей Сталина, о приемах его доказательств. Ну, вы помните: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — и прочее, в том же духе. Мы с вами знаем, чем это пахло. Я помню вечер, когда мы разговаривали, когда я разглагольствовал, цитировал учебник логики Асмуса и щеголял латынью. Я помню даже то, что говорили вы, Виктор Вольский, о внешности Сталина: о том, что у него мало лба и мало ног, что единственный похожий портрет — это рисунок Андреева в Третьяковке — там видно, какой он рябой и какие у него мутные глаза. Я бы мог всё это сказать следователю, вы бы тоже загремели в лагеря, таких вещей даже сексотам не прощали. Ну, что вы опять? Потерпите, я больше терпел. Я вас не посадил не потому, что пожалел, — я вас ненавидал тогда. . . Просто я — брезгливый, мне противно было мстить при помощи эмгебэшников. Так вот, в этот вечер, кроме нас с вами, было еще трое. Одного из них тогда же арестовали, и он сидел все эти годы. Другой — он был моим другом с

детства, он вне подозрений — он умер, а третья, девушка — вы помните ее? — эта девушка была моя девушка, моя возлюбленная, моя жена. Мы жили с ней, понимаете. Мы спали с ней, понимаете? Мы любили друг друга. Вы поняли, Виктор? Вам незачем сейчас и когда бы то ни было отпираться и оправдываться. Да. Вы единственный человек, которому я мог бы рассказать всё, что я перенес, — чтобы вы поняли, чтобы вы почувствовали хоть в какой-то мере, что вы сделали. Вы понимаете, что у вас нет оправданий? Если вас запутали, запугали, вы должны были убить себя, уйти добровольно, а не становиться тем, . . . тем, чем вы стали. Вы предатель, Виктор. О, я всё это обдумал! Там, в лагере, я решил, что убью вас. Убью — за свою испоганенную жизнь, за то, что мы едим баланду, за то, что спим с мокрыми ногами, за то, что следователь плевал в меня и я не имел права стереть его слюну с лица, за то, что Люда вышла замуж за другого — не любя, плача, — чтобы ей, выгнанной отовсюду, было чем кормить ребенка, моего ребенка, он родился уже после того, как меня взяли. Слава Богу, муж ей попался хороший, очень хороший человек, теперь уже и она любит его. Понимаете, Виктор, — вы же умный человек, вы можете и должны это понять — я не мог мечтать о том, чтобы свернуть шею всему режиму, но вас я мог бы убить даже голыми руками, ведь я раза в два сильнее вас, и теперь могу — вот просто могу взять и задушить, здесь, на скамейке, около Гоголя. . . Что вы смотрите так? Не боитесь? Это хорошо, что вы вздрагиваете от слова «сексот» и не трусите, что я убью вас. Значит, вы поймете и сделаете то, что я хочу. Я раздумал убивать вас. Я очень переменялся с тех пор, Виктор. Мне стала противна мысль об убийстве. Я уж не говорю о том, что у меня есть семья, друзья, работа, много моря и много солнца в моих экспедициях, и мне было бы жаль всё это потерять. Нет, я не стану убивать вас. Но вы исчезнете.

Вы не должны ни с кем общаться, вы не имеете права ни с кем дружить, вы не должны спать с порядочными женщинами, вы не смеете жениться — слышите? Лучше всего вам было бы уехать куда-нибудь на край света, на Дальний Восток или в Среднюю Азию, потому что я облегчу вам ваше исчезновение. Я вас предупреждаю открыто, Виктор: я позабочусь о том, чтобы все знали, кто вы такой. Мне вас жалко, Виктор, почти так же, как было жалко самого себя, но другого выхода нет. Вы спросите, почему я не встретился с вами раньше? Почему раньше не потребовал этого? Я ждал. Я ждал, что вы придете ко мне, что вы хотя бы попробуете объясниться со мною, и, честное слово, если бы я заметил, что вы хоть немного страдаете, что вам неудобно, неуютно жить от того, что вы сделали, — честное слово, я простил бы вас. Но вы спокойны, Виктор, вы ходите в гости, вы пьете вино, и, наверно, встречаетесь с женщинами. А ведь вы не имеете на это права, Виктор, вы не имеете права! Раз вы так спокойны, раз вы так хладнокровны, значит, вы — подлец, Витя. Значит, вы не только марионетка сталинских времен — с тех пор многим «винтикам» стало не по себе. Вы спокойны, вы — негодяй; это я не оскорбляю вас, нет я классифицирую, ведь я же зоолог. В вас негодяйское, черное начало. Будь я верующим, я бы сказал: антихристово начало. Оно встречалось у людей и до Сталина, и до Гитлера, и до Ивана Грозного, и до Лойолы. Таких людей надо обезвреживать, самое лучшее — убивать, но я не могу убить. Вы поняли меня, Виктор? Не отвечайте мне, мне не нужно ответа, я вам всё сказал и обо всем предупредил. Мой вам совет — уезжайте; лучше лечиться самому в одиночестве, чем ждать, пока вас начнут лечить другие. Прощайте, я надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Мне очень вас жаль, Виктор.

Он встал, постоял немного надо мной, протянул руку и тронул ладонью мое плечо. Потом повернулся и зашагал

прочь. Я смотрел ему вслед, и, помнится, подумал: «А ведь это ему только кажется, что он вдвое сильнее меня. Как он сутулится. . .»

Я зажег потухшую папиросу и пошел домой. Добредя до подъезда, я остановился и оглянулся. Улица шумела, но этот уличный шум был как-то отдельно от моего слуха. Сам по себе вздрагивал какой-то дурацкий мускул на плече. Я стоял и смотрел, как задним ходом плывут отражения домов в окнах троллейбусов, как низко пригнувшись, едут велосипедисты — единственные, кому не возбраняется одеваться эксцентрически: они напяливают на себя женские шапочки, фуфайки немыслимых фасонов и расцветок, и никакие дружинники не трогают их. Девочки, болтая косичками, играли на тротуаре в «классы».

Но, Господи Боже мой, я же не доносил на него! Я никогда ни на кого не доносил!

.

Они сидели за шахматной доской где-то над городом, а, может быть, и в самом городе, но всё равно — вокруг было пусто, и холодный синий воздух отделял их от всего. Добро было в белой одежде, а Зло — в черной, как и положено. Они кончали одну партию и тут же начинали другую. Добро играло напористо, темпераментно, с азартом; Зло медленно обдумывало ходы. Их силы были, примерно, равны, но Добру не хватало выдержки: оно торопилось, хваталось за разные фигуры и часто просило дать ход назад. Зло всегда соглашалось, ему незачем было спешить. Оно продвигало пешки, укрепляло позиции, неторопливо развивало фигуры. Наискось, стремительно, как шпаги, разили слоны Зла. С фантастическим, ненатуральным вывертом прыгали кони Зла. Гремя, скатывались в никуда фигуры. Чаще это были фигуры Добра. Оно охотно жертвовало ими в надежде на скорый выигрыш. Зло щадило

своих. Постепенно пустела доска, разыгрывался эндшпиль, звучало «Шах и мат!» — и снова, для новой партии выстраивались фигуры. «Ну, последнюю», — говорило проигравшее Добро. И Зло всегда соглашалось. И снова выдвигались вперед пешки, и происходили рокировки, и готовились «вилки», и снова игроки заслоняли своих королей другими фигурами — своих почти беспомощных королей, носителей идеи победы, добиваться которой приходилось другим. Когда побеждало Добро, оно бурно ликovalo и требовало продолжать игру, чтобы упрочить успех. Зло всегда соглашалось. И партия следовала за партией, и холодный синий воздух, прослоенный белыми облаками, клубился вокруг шахматистов, и Зло курило сигареты с фильтром, а Добро сосало карамельки, и они играли, играли, играли, и оба знали, что в любую минуту может зазвучать властный голос: «Хватит! Кончайте игру! Уступите другим доску!», и поэтому Добро торопилось увеличить счет в свою пользу, а Злу было незачем спешить.

.....

5.

Мне хотелось побыть одному, а вся наша шайка-лейка, как на грех, решила пообедать бутербродами с пивом тут же, на работе. Один побежал за припасами, а остальные — сидели на столах и рассказывали о летних приключениях. Я вышел из комнаты и пошел в мастерскую трафаретчиков. Там никого не было, все ушли обедать в ближайшую столовку. Я лег на скамейку и подложил под голову чей-то портфель. Прислоненные к стенке, стояли неоконченные рекламные щиты. Это были изображения элегантного мужчины, сообщавшего, что до Сочи можно долететь за три с половиной часа. Я знал этот закон, я сам набрасывал эс-

кизы. Щиты были почти готовы, не хватало только красной краски — ее накладывали в последнюю очередь. Красным делали текст, полоски на галстук и рот. И вот теперь они стояли, безгубые, безротые, что-то хотели сказать и не могли, нечем было. Глаза у них были страдальческие, как у собак. И хотя я точно знал, что ничего, кроме дурацкой фразы о полете в Сочи, они мне сказать не могут, мне почудилась в их лицах просьба о важном разговоре.

— Вы что-нибудь знаете? — спросил я их. — Что-нибудь нужное мне?

Они многозначительно молчали.

— Ведь у вас в башках всего одна мыслишка: о трех с половиной часах полета.

«Как знать!» — ответили они мне молча.

— Даже если есть и другие мысли, так они такие же пошлые, как и эта.

«А ты дай нам речь — тогда услышишь», — сказали они.

— А стоит ли? — спросил я. — Много ли радости от слов?

«Никакой радости, — сказали они, — но всё равно: люди должны говорить».

— Так вы же не люди.

Они посмотрели на меня укоризненно. Я встал, оглянулся. На подоконнике лежала губная помада. Я взял ее, сделал одному из них рот и сказал:

— Ну?

Он пожевал губами, разминая их, и произнес:

— Главное — это то, что ты сам знаешь, что ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, а разве мне от этого легче?

— А кто сказал, что всегда должно быть легко? Хватит с тебя, тебе тридцать семь лет легко жилось.

— Но как же я буду жить среди людей?

— Страдай.

— Не хочу!

— Мне жаль тебя, — сказал он голосом Феликса Чернова.

Я взял тряпку, стер ему рот и подошел к другому. Этот другой был очень деловит:

— Ты должен встретиться с Феликсом и объясниться. Ты должен найти убедительные слова. Напомни ему, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного.

— Да разве ты не слышал, каким тоном он со мной разговаривал? — спросил я, тоскуя.

— Это всё равно. Ты человек и он человек. Оба вы — Homo Sapiens. Человеческий разум. . .

Я ударил его тряпкой по лицу и заставил замолчать:

Третий сказал:

— Виктор, тебе придется смириться. Тебе придется сделать всё, как сказал Чернов.

— Почему? — закричал я.

— Потому что ты виноват. И ты сам это знаешь.

— Ничего я не знаю! Я не доносил!

— Я не об этом. Ты виноват. Подумай, и ты сам поймешь. Ты виноват в том. . .

В это время в коридоре захлопали двери. Я едва успел лишиться его речи, как в мастерскую ворвалась банда трафаретчиков. «О, Витя! Виктор! Виктор Львович! — зашумели они. — К нам приехал ненаглядный Виктор Львович дорогой!» Они все были много моложе меня — студенты и студентки, халтурившие на летних каникулах, — но мы были на короткой ноге, вместе выпивали, играли в пинг-понг и ездили за город. Отношения были самые свойские. Троиц

из них я, правда, показал как-то свои работы, попросив не говорить другим; но они, конечно, растрепались, и теперь я иногда ловил на себе почтительные взгляды. «Банда» явно гордилась знакомством со мной и короткостью. Иногда, по молодости, они пересаливали, но я терпел, они мне тоже нравились.

Мы поболтали немного об абстрактной живописи и о «левых» стихах, выяснили, что хорошая абстрактная живопись — это хорошо, а плохая — это плохо. Потом я сказал:

— Ну, мальчики и девочки, делайте деньги, — и ушел.

Работа не ладилась. Надоели мне эти чортовы рекламы. Я вяло водил карандашом, набрасывая контуры, шаркал резинкой по бумаге. Всё это дурной сон. Какое право он имеет распоряжаться мною, моей жизнью? Как будто он Господь Бог. Навалился на меня, скомандовал и ушел. Нет, он не посмеет сделать то, чем угрожал. И вообще я могу сам рассказать об этом разговоре. Рассказать своим друзьям и знакомым. Ирине надо рассказать. Мы с нею не виделись с того дня, как за город ездили. У нее мать заболела, и она сидела дома, даже на работу не ходила — взяла бюллетень. После работы позвоню ей, может быть, она уже свободна. «Предатель! Это я-то предатель! Как будто я не знаю, чего стоит свобода. Слава Богу, навидался и наслушался, только что сам не сидел. Впрочем, армия и тюрьма — родные сестры. Игольников прав: солдат и зека всегда друг друга поймут. А что же ты с Черновым общий язык не нашел? Попробуй, найди, когда он так предвзято. . . Я бы мог рассказать ему, когда я впервые понял, что такое несвобода, я рассказал бы ему о том человеке, который заставил меня понять. Это было на фронте, на Украине, меня, автоматчика, после ранения сунули к связистам, и я тащил по дороге всё их связистское снаряжение. Каждая катушка весила по восемь килограмм, их было две — шестнадцать; стационарный аппарат

— килограмма четыре, полевой, чтобы бегать на линию, — около полутора, автомат — четыре с половиной, да еще запасной диск, котелок, кусачки, всякая мелочь. . . Всего набиралось пуда два. Если бы всё это было в одном месте, компактно, тогда бы еще ничего, а то перекрещивающиеся ремни давили на грудь, прижимали к шее жесткий и мокрый воротник шинели. И грязь. Тугая, как резина, хищная, как болото, она хватала за ноги, разувала. Иногда я сбивался с танковой колеи. Я уже не радовался тому, что немцам еще хуже. Я яростно выдираю ноги из этой гнусной квашни, цепляясь за измызганные и покалеченные прутья придорожного кустарника. Выбравшись на сухое местечко, я садился и, стараясь не торопиться, счищал щепкой, а то и пальцами, грязь с ботинок и обмоток. При этом ругался — устало и механически. И только потом, когда усталость чуть отпускала меня, — по-настоящему она никогда не исчезала, она была всегда, и война была прежде всего усталостью, — только немного погодя я начинал смотреть на всё, что меня окружало, так, как смотрел до войны, видел бурую, разбухшую пористой грязью дорогу, детали: прямоугольники грязи, отлетевшие от гусениц, керосиново-глянцевые в тех местах, где они соприкоснулись с металлом, бледное пятно потерянной пилотки, походная кухня с сорванной крышкой, налитая вровень с краями мутной дождевой водой, и неожиданно яркий, радостный колер трофейного кабеля — красные и желтые нитки, протянутые метрах в десяти от дороги. Из такого кабеля деревенские девочки делали «намысто» — бусы. Если посидеть подольше, взглядеться пристальней, всё это обретало особую точность, каждый предмет как бы сам собой приближался к глазам, громко заявляя о своем цвете, о форме, о самом главном в себе. Но долго сидеть было нельзя. . . На одном из таких привалов я заметил, что в стороне, метра за три от дороги, валяется альбом — большой, красивый, с обтянутой целлофаном крышкой. Я смотрел на

него и колебался. Чтобы взять его, надо было сделать несколько шагов в сторону, в топкое месиво. А вдруг в нем есть чистые листы? Я пересилил себя и пошел за альбомом. Я поднял его и сразу же заглянул в конец — чистых листов не было. Последняя страница была перечеркнута трехбуквенным ругательством. «Братья-славяне, — усмехнулся я. — Резолюцию наложили». Надпись была сделана химическим карандашом, должно быть, огрызком — бумага была поцарапана. Сначала я хотел бросить находку, а потом всё-таки сунул альбом под ремень и побрел дальше.

Вечером, на ночлеге, я раскрыл альбом и придвинул его к светильнику, сделанному из гильзы.

Я увидел немецких мотоциклистов, мчащихся в ночь по залитой водой дороге, фары прорывались сквозь дождь; я увидел картину атаки: солдаты бежали вперед, выставив автоматы, а под землей в обратном направлении ползли мертвецы; Иисус в мундире с нашивками фельдфебеля нес крест на Голгофу, изрезанную траншеями; дальше был портрет человека с измученным ртом, со шрамом на лбу, внизу было написано по-немецки: «Я еще жив. 1943, февраль»; на следующей странице — человек с тем же лицом, он стоял у стены, его расстреливали, внизу надпись «Расстрел дезертира»; рисунок повторялся, только на этот раз художника расстреливали не немцы, а наши, он же лежал, как младенец, на руках Богоматери, а она стояла на коленях перед офицером: опять автопортрет: художник гладит оторванную женскую руку с обручальным кольцом; группа зенитчиков стреляет в ангелов, спускающихся на парашютах; солдат, стоящий под виселицей, на которой раскачивается труп человека в нижнем белье, надпись: «Я тоже хочу быть свободным».

Все рисунки были сделаны карандашом, только автопортрет 43-го года — пером.

Я смотрел этот альбом, пока мне не крикнули, чтобы

я прикрутил огонь. Я лег, но и в темноте видел рисунки немца. Потом я заснул.

Я таскал с собой альбом почти до самой демобилизации, пока замполит не отобрал. Нет, я не относился к войне так, как этот Фриц или Ганс. Я должен был воевать, и не только потому, что меня призвали. Эта война была моей войной. Я не жалел, что воюю. И не о войне думал я, снова и снова рассматривая альбом. Я понял, что немец боялся не смерти: он был в ужасе от того, что кто-то взял его за глотку и заставил подчиняться, сделал его несвободным. Может быть, с этого-то немца, брата моего во Искусстве, и начались мои мысли о свободе и несвободе. Может быть, тогда-то и пришло мне впервые в голову, что умирать легче, чем быть в тюрьме. Может быть, именно с тех пор я стал осторожнее в разговорах, оберегая свою свободу. Свободу? Да, свободу: я писал картины, я пил вино, я купался в море, я ласкал женщин. . .

— Виктор, эскиз готов?

Он хочет наказать меня за несовершенный грех. Он хочет обречь меня на одиночество, высадить на необитаемый остров. Ну, что ж, пусть попробует: я не дамся, и буду сопротивляться, меня так легко не сломишь. Я буду звать на помощь, я брошу СОС, как бутылку в море. . .

— Виктор, как с эскизом?

Бутылка в море, мишкина «Бутылка в море»!

Плещет в море волна ласковая,
Плещет, плещет и бутылъ шевелит,
Потихоньку ополаскивая,
Осьминогам ее трогать не велит.

Ветер носится, посвистывая,
Вести носит от земли до земли,
Синева глядит неистовая,
Не заметят ли бутылку корабли.

- Виктор!
- Чего тебе?
- Эскиз готов?
- Сейчас.

А что, если всё будет, как в мишкиной песне? Как в печальной песенке, вызывающей задумчивые вздохи после ужина? Как в грустной песенке о людской беспомощности, о приветливом равнодушии мира?

Цепи с грохотом потравливая,
Соберутся корабли всех морей:
Вон плывет письмо отправленное,
Подбирайте-ка бутылку поскорей!

У судьбы моряцкой выпрошенный,
Открывается конверт из стекла:
Ждет моряк, на скалы выброшенный,
Два столетья, чтобы помощь подошла.

— Ребята, шабаш! Пошли до дому, до хаты. Витя, черт с ним, с эскизом. Завтра докончишь. Двинулись?

- Идите, я еще поковыряюсь.
- Ну, как хочешь. Салют!
- Пока.

Когда все ушли, я откнопил ватман, собрал карандаши, взял свою папку и пошел домой. Проходя по коридору мимо трафаретчиков, я замедлил шаг. Потом раскрыл двери и вошел. «Банды» уже не было. Мои давешние собеседники стояли у стен и улыбались свежими ртами. Я подошел к тому, с кем не договорил.

— Ну, так как же, дружище? В чем же я виноват?

— «Пользуйтесь авиатранспортом! — ответил он. — До Сочи вы можете долететь за три с половиной часа».

— Не дури! — сказал я. — Ты вроде бы умней своих братьев. Что ты хотел мне сказать?

— «Пользуйтесь авиатранспортом. . .»

— Слушай, не будь сволочью. Говори!

— «. . . до Сочи вы можете долететь. . .»

— А пошел ты к. . .

— «. . . за три с половиной часа».

Я хлопнул дверью.

6.

У Ирины была плавная фамилия — Иевлева. Каждый раз, когда я звонил ей по телефону, мне казалось, что я пою, произнося: «И-Р-И-Н-У-И-Е-В-Л-Е-В-У». И каждый раз я вздрагивал, слыша в ответ вопросительное «Да-а?»

— Иринка, — сказал я, — как дела?

— Витенька, я свободна! Мама решила, что ей удобнее болеть у тетки, и я ее утром отвезла на Фили. И теперь я свободна! Ты видишь, как я танцую у телефона?

— Конечно, — сказал я. — Ты встаешь на носки и щелкаешь пятками. А левой рукой ты придерживаешь халатик.

— Витька, ты ослеп! На мне нет халатика. И вообще почти ничего нет — так, самая малость.

— Ох ты! Тогда я сейчас примчусь.

— Сударь, я вас не задержу: вы застанете меня вполне одетой, готовой к выходу.

— А куда?

— Куда-нибудь махнем, Витя. Приезжай.

Я взял такси. Водитель попался молодой и напористый. Мы лихо проскочили перекресток на желтый свет. Милиционер в стеклянной будке погрозил нам.

— Ладно, ладно, сиди в своем подстаканнике, — про-
бормотал шофер. Некоторое время он гнал машину молча,
потом попросил у меня закурить и доложил:

— Вернулся я сейчас из Нарофоминска, возил туда
инженера одного. Когда брал его, спрашиваю: «Один еде-
те?» «Один», — говорит. И правда, ехал один. А свобод-
ных мест в машине не было.

Он замолчал, ожидая, что я спрошу. Я спросил:

— Как так?

— А вот так: всю машину продуктами завалил. Я го-
ворю: «Что это вы все московские магазины скупили?» А
он: «Милый, говорит, жрать-то надо? У меня, говорит,
семья большая. У нас, говорит, в Нарофоминске один ло-
зунг: «Пей вино, смотри кино, закусывай радио».

Он захохотал.

— Ну, отвез я его, выгрузил, дай, думаю, в магазины
загляну. Зашел, а там и в самом деле — ни хрена! Вам
сюда? К подъезду. . . Спасибо. Будьте здоровы!

Я вбежал на второй этаж и позвонил.

— Витька, это ты?

— Ага.

— Подожди за дверью, я оденусь.

— Открой, Ирка, здесь страшно, волки воют. . .

— Ну, ладно, входи, только не смотри на меня. . .

Я вошел с закрытыми глазами. Ирина засмеялась, взя-
ла меня за руку и повела в комнату.

— Ирка, а что же ты в непристойном виде по коридо-
ру разгуливаешь?

— А никого нет. Была соседка — и та только что
ушла.

Я открыл глаза. Ирина стояла в старом купальном халате, кое-как стянутом в талии пояском от плаща. Она смотрела на меня и улыбалась.

— Какой ты нарядный — сказала она. — Каким ты франтом на работу ходишь. В голубенькой рубашечке пришел к своей милашечке.

Халат на плече был разорван. Я поцеловал ее сквозь дырку.

— Витька-Витька, — сказала она, — Витька-Витька. . .

. . . Мы никуда не пошли. Позже, под вечер, я сбегал в магазин, купил бутылку вина и еды. Мы ели и пили, сидя на постели, и она немножко опьянела, и смеялась, проливая вино, и прижималась ко мне растрепанной головой.

— Витька-Витька, — твердила она, — Виктор-победитель. . . Какая я дура, что столько времени оттягивала это. Я тебя больше никуда не отпущу. Слышишь?

Снова смешалось наше дыханье. Белели ее плотно опущенные веки, рот казался черным. Это было, как плаванье в беспокойном море. Нас с головой захлестывало волнами, мы задыхались под тяжелыми, сотрясающими тело ударами, нас выносило вверх, к ослепительному солнечному свету и снова швыряло вниз, в черные провалы беспамятства. Переводя дыханье, мы могли выговорить, простонать только имена друг друга. . .

Я выбрался из постели потихоньку, чтоб не разбудить Ирину. Я сел у нее в ногах и закурил. Огромная, никогда раньше не испытанная нежность властно овладела мной. Ирина лежала, подтянув к животу мерцающие колени, смешно вывернув руки кверху ладонями. Я глядел на нее и думал, что сейчас мне уже безразлично, красива ли она, умна ли; сейчас она мне близка — и это самое важное. Я ее люблю, и я любил бы ее теперь с кривыми ногами, или с черными зубами, или плохо острящую. «Жена моя», — подумал я

и сжал челюсти, чтобы не заплакать. Такого у меня еще никогда не бывало. Я ни на секунду не осуждал себя за то, что много распутничал раньше, и думать о женщинах не казалось мне кощунственным рядом с нею. Я знал, что жил так же, как десятки моих знакомых, так же, как они, сходился и расходился с женщинами, так же думал и говорил о них. Может быть, мы говорили пошлости. Пошлость! Нет, не то. Наверно, всё-таки это был поиск — поиск, сам по себе доставляющий наслаждение. Кто ж виноват, что самоутверждение мы ищем в запретных и стыдных потемках, что слова, которые мы произносим, заземляют и снижают мудрую жажду красоты? Ира, Иринка, жена моя, я всё-таки нашел тебя. . .

«Вы не смеете жениться». Я встал. «Вы не смеете спать с порядочными женщинами». Врешь! Я смею. Я сам порядочен. Я умен и талантлив. Ищи других, ищи настоящих нелюдей. Ищи пристально, не клуй на слишком яркую приманку. Ищи! Они живут среди нас, настоящие стукачи, — ездят в трамваях и метро, посещают филармонию и читают Солженицына, выходят на пенсию и разводят цветы, заседают в товарищеских судах, пишут научные работы! С ними своди свои счета. . .

«Своди свои счета», — повторил голос Чернова. — «Если ты такой честный, то это и твои счета. Ты уходишь от ответственности, ты хочешь, чтоб другие отскабливали грязь, а ты будешь щеголять в чистой совести, как в чистых ботинках. Взамен мелкой монеты ты кинешь чистильщику: «Я с вами совершенно согласен!» И будешь гордиться своей гражданской смелостью. Дело делать надо!» Дело делать? А что сделал ты, Феликс Чернов? За что ты сидел в тюрьме? Ты и 99% всей 58-ой? Вы же сидели *ни за что*. Вы тоже ничего не делали. Ни плохого, ни хорошего — *ничего*; мне до слез, до крови жалко вас, но передо мною вам гордиться не-

чем — вы тоже бездействовали. Я виноват только в том, что ничего не сделал — если это можно считать виной. Если это считать виной. . . Если считать виной. . .

**
*

Я так и не сказал ничего Ирине. Мне не хотелось зряшними разговорами портить наши первые часы, первые дни.

Прошла неделя. С работы я ехал прямо к ней, а иногда она встречала меня у дверей наших мастерских, и мы шатались по Москве, бродили по набережным, глаза на неоновых пингвинов, рекламирующих мороженое. Мы очень заботились друг о друге: я объяснял ей, что Пиросманишвили гениален, а она то же самое говорила о Шостаковиче. Всё было чудесно.

Я сидел на работе и, насвистывая, затачивал карандаши, когда меня позвали к телефону. Это звонила Ирина. Она сказала мне, что мать вернулась домой и поэтому я не смогу придти к ней сегодня.

— Ну, так приходи ко мне.

— Витенька, сегодня мне надо побыть с нею. Первый день.

— Какого лешего! — завопил я. — Жена ты мне или не жена?!

— Милый, не скандаль. Во-первых, еще не жена. . . Что? Не рычи — жена, жена. А во-вторых, я в самом деле совсем запустила хозяйство. Надо прибрать, постирать кое-что. . . Завтра увидимся. Ну, целую тебя.

Я повесил трубку. Рядом стоял и ухмылялся сослуживец:

— Ты, значит, женился? А свадьба где? Зажал?

Я хлопнул его по плечу:

— Не горюй, не грусти! Будет вам и белка, будет и свисток.

Но когда я кончил работу, я вдруг задумался: куда деваться? За эту неделю я привык быть с Ириной ежедневно, и сейчас мне было как-то не по себе. Я пошел к Мишке Лурье.

Мишка жил недалеко от меня, на Трубной площади. Дверь в квартиру отворила соседка. Я постучал в мишкину комнату и, не дождавшись ответа, вошел.

Мишка, его жена и Нина Ряженцева сидели за столом. Еще за дверью я услышал, что они о чем-то спорят, а когда вошел, увидел, что Мишка зол, как черт, и у Нины красные пятна на лице. Мишкина жена сидела, поджав губы.

— Здорово, служилые! — сказал я. — Чего вы тут не поделили?

— Здравствуй, — сказал Мишка хмуро.

— Что случилось?

Они молчали. Потом Нина встала.

— Мне пора идти, — сказала она.

— Я вас провожу, Ниночка, — отозвалась мишкина жена.

— До свиданья, — сказала Нина, и они ушли.

— Мишка, в чем дело? — спросил я. — Что-нибудь стряслось?

— Стряслось.

— С кем?

— С тобой.

Я понял.

— Ага, — сказал я. — Чернов. Мне следовало всех вас предупредить. Ну, что ж рассказывай. Жаль, я опоздал. Мне не до того было.

— А до чего тебе было?

— До любви.

— Мог бы ради такого случая отложить кобеляж.

— Это не кобеляж, Мишка. Я женюсь.

— На ком?

— На Ирине Иевлевой.

— Ого! — Мишка заулыбался. — Вот это да! Ну и ну!

— Может, ты прекратишь эти междометия? Рассказывай, что произошло.

— Что произошло, что произошло! Произошло то, что к Нине пришел этот Феликс Чернов и сказал, что ты стукач, что ты его посадил, что у него есть неопровержимые доказательства.

— Он изложил эти неопровержимые?

— Да.

— Ну и что? Ты-то что думаешь?

Мишка отвернулся и устался в стенку, где пестрела репродукция «Танцовщиц» Дега.

— Мишка, что же ты молчишь? Ты тоже считаешь, что я гад? Мишка, мы же друг друга со школы знаем.

— Слушай, Виктор, — Мишка выпрямился. — Ты должен пойти к Чернову. Вы должны с ним объясниться. Вы же оба разумные люди. Он ведь должен понять, что лучше молчать, чем обвинять, ошибаясь. Хочешь, мы вместе пойдем?

— Погоди, Миша. Ты-то, ты — что думаешь?

Мишка помолчал.

— Я верю тебе, Виктор, — сказал он медленно, — верю. . .

— Но. . . Ты ведь хотел добавить «но»?

Он молчал.

— Мишка! — заорал я.

— Как будто ты сам не понимаешь, — выговорил он нехотя.

Я поднялся:

— Ну, что ж. Спасибо и на этом. . .

7.

«Узбекистан» гудел, как бесплацкартный вагон. Запарившаяся прислуга моталась между столиками, отмахиваясь салфетками от нетерпеливой публики. Пьяная девка за моим столиком всё время пыталась говорить со мной по-английски, но кроме «спик ю инглиш» и «ай эм гёрл» ничего выдавить не могла. Ее кавалер, высоколобый зануда с университетским значком, говорил: «Люда, погоди!» Она на какое-то мгновение умолкала, и тогда он, перегибаясь через столик, пачкая рукава салатом, убеждал меня:

— Самая объективная газета у американцев — это «Нью-Йорк геральд трибюн». Читайте «Нью-Йорк геральд». Они всему цену знают. . .

— Вы что — агент по рекламе? — спросил я, отпихивая его влажную руку, хватавшую меня за плечо. Но он не давал сбить себя:

— Нет, я — доцент Вашечкин. Семен Алексеевич Вашечкин. А вас как зовут?

— Фра-Дьяволо.

— Ха, вы шутник. Я говорю: читайте. . .

Он остановился и посмотрел на меня любящими глазами. Девка завопила:

— Спик ю инглиш?

— Люда, погоди! Вот я вам сейчас расскажу: сели мы в покер, и я проиграл восемь рублей, а? Вы играете в покер?

В покер! Сукин ты сын! Встретился бы ты мне на улице, я бы тебе показал покер!

Я перевернул графинчик над стопкой. И полстопки не набралось. Доцент засуетился:

— Разрешите, я налью. Пожалуйста. . .

— Ай эм гёрл!

— Люда, погоди! Вы мне очень нравитесь, уважаемый — хе! — Фра-Дьяволо!

— Ладно, лейте. Официантка, еще триста грамм!

Официантка по-матерински поникла надо мной:

— А не хватит ли? Не сердитесь, вы уже много выпили.

— Ничего, ничего, девушка! Вы же видите я в полном порядке.

Но я не был в полном порядке. Хотя я и чувствовал себя трезвым, зал расплывался, в голове стучало, и страшная сухость стягивала рот.

— Слушайте, Вашечкин! Слушайте, доцент! Я хочу вас спросить кой о чем. Только скажите ей, чтоб она не лезла со своим «инглишем», а то я ее по-русски пошлю! — добавил я раздраженно. Я был уверен, что трезв: я фиксировал свой тон, я позволял себе раздражаться.

— Люда, погоди! Я слушаю вас, дорогой друг. Я — доцент Вашечкин. . .

— Спик ю. . . — пискнула Люда и печально умолкла.

— Слушайте, Вашечкин. Кстати, что за дурацкая фамилия: Вашечкин, Нашечкин. . . Ладно, не сердитесь. А, принесли. Спасибо, поставьте сюда. Так вот, представьте, что вас обвинили в грязном поступке, в подлости. И вы не можете доказать, что не виноваты, вы беззащитны против

клеветы. Вы слушаете меня? Вы слушайте, а то. . . Что вы будете делать, доцент? Как вы будете жить?

— Я. . . Спасибо, спасибо. За ваше здоровье! Кха, Да. Если бы меня обвинили в чем, в том. . . в том, в чем я не виноват, то я был бы спокойным! Спокойненьким!!! Потому что я сам знал бы, что я ни в чем не виноват. А?

— Здорово! Ай да доцент, ай да молодчина! Слушай, сколько лёту от Москвы до Сочи?

— Что? До Сочи? Кажется, часа три, три с половиной.

— Ух, Вашечкин, опять угадал!

В это время Люду замутило. Она встала и посмотрела на нас трагическими и бессмысленными глазами.

Вашечкин вскочил, подхватил ее за талию и повел, обирачиваясь ко мне и вскрикивая:

— Погодите! Не уходите! Договорим!

— Здесь свободно?

Одно место за нашим столиком было не занято, но к нам никто не садился, потому что на стуле лежала людина сумочка. Вашечкин, уходя, подхватил ее.

— Да, одно место, — сказал я.

— А мне больше и не надо. Я не люблю, знаете ли, на двух стульях сидеть. Я всю жизнь на одном стуле просидел. Чего и вам желаю.

Он был совсем пьян, этот человек лет пятидесяти, с осоловелым добродушным лицом, с маленькой лысинкой в белокурых седоватых волосах — я увидал ее, когда он нагнулся, садясь.

— Ну, что пьем? — спросил он, потирая руки. — Девушка, графинчик, салатик, шашлычек по-карски, пару бутылочек минеральной. Вот так. Молодой человек, разрешите воспользоваться пепельницей. Вот так. Спасибо коллега.

— Какой я вам коллега, — буркнул я. — Я художник.

— И я художник, — подхватил он. — Художник в своем роде. Шучу, шучу. А с художниками я был знаком. С художниками я много встречался. Ночи напролет, бывало, беседуем.

— Вы кто же? Искусствовед? Критик? Министр культуры?

— У-у, горяч, горяч. Молодой еще, ничего.

— Вы лучше выпейте. А то пока вам еще принесут. . .

— Выпью, сынок, выпью. Разочтемся. Будь здоров. Я им говорю: «Что ж, вы, говорю, художники? Жалко мне вас, говорю». Та-акой народ! «Присаживайтесь», — говорю. Да, а сейчас я на пенсии. Вот так.

— Что-то я не пойму, какие у вас с художниками дела были?

— Да одни ли художники! Профессора, академики! Химики! Я тут, а они — вот они, голубчики мои. Ну, чего ты смотришь, чего глазами моргаешь? Кто я такой? Пож-жалуйста! Я — майор. Я в органах работал. Двадцать семь лет, как одна копеечка. А теперь на пенсии.

Он вдруг заговорил шепотом:

— Ненужен, говорят, стал. Образования, говорят, мало. Отдохните, говорят. А на мое место — мальчишку, сопляка. Только — тсс, молчок! Я тебе, как своему. . .

— Что?!

— . . . как своему брату говорю, как младшему брату: придут! Придут, позовут, «Выручай, скажут, майор!» Ты думаешь, все эти штучки — надолго? Все эти манежи, ентушенки, совнархозы, мать вашу. . . Молчи, молчи. Зубы стисни, молчи, не тушуйся. Думаешь, я один такой? Думаешь, я сопьюсь на большой-то пенсии? Врешь! Я иду по Кузнецкому, а они навстречу, навстречу. Здраваться не

положено в штатском, так они глазами приветствуют! Нет! Шалишь! Без меня не обойдешься! Придут, позовут, а я умоюсь, побреюсь, выйду к ним — и мы такое покажем! Тсс! А то, понимаешь, слабаки: «Я, говорит, угрызения совести испытываю, я неправильно сообщил». А какое ты право имеешь рассуждать, что правильно, что неправильно? Ты долг свой исполнил! Перед родиной, перед партией! Перед. . . впрочем, о Нем молчу. О Нем другие скажут. Вот так. Мало ли, что неправильно, а сообщить надо. Мы разберемся. Ты хороший малый, молодой только, в глазах задумчивость. Ты это брось, не задумывайся. Не тушуйся! И правильно сообщил. То есть, это не ты сообщил, я спутался. . . Но и ты мог бы. Ты настоящий человек. На каких фронтах воевал? В окружении, в плену был?

Он вдруг замолчал и подозрительно уставился на меня.

— Ты мне смотри-и, — прошептал он. — Ты подписку дал. Вот так.

За соседним столиком освободилось место. Майор встал и перебрался. Туда ему и заказ принесли, оттуда он грозил мне пальцем и шипел: «Вот так!»

Вот так! Так и никак иначе! Он распухал у меня на глазах, двоился, троился, переодевался в серые плащи, обрастал погонями и орденами, размножился по всему ресторану. Вот так! Да нет же — не так! Не будет так, майор, эмгешник, сволочь проклятая, не будет так! Я сдохну, чтобы так не было.

Я не помню, как и откуда появился Брынский. Кажется, он сначала звал меня с другого конца ресторана, но я не вставал, и он сам пришел ко мне. Водки у меня уже не было, и я пошел требовать долг с эмгешника, а Брынский твердил:

— Плюнь! Я тебе стихи почитаю.

— Сейчас, — сказал я, — сейчас.

Я пошел в уборную и подставил голову под кран. Ко мне подошел служитель:

— Молодой человек, хотите, через пятнадцать минут трезвым будете?

— Хочу, — сказал я. — На всю жизнь.

— На всю не выйдет, — ответил он деловито. — Три рубля пожалуйста.

Я дал ему трешку. Он отвел меня за перегородку, усадил на стул и сунул в руки флакон с витамином «Б-прим».

— Ешьте, — сказал он. — Только не засыпайте.

Я глотал драже, давился и не верил. Однако минут через двадцать на слабых ногах, но почти трезвый, я вышел в зал.

Брынский ждал меня.

— Слушай, — сказал он. — И вы слушайте, — он повернулся к Вашечкину и его Люде — они уже вернулись. Лицо его стало каменным, он взялся за щеки и прочел:

Пройдут века, прекрасны и суровы,
Чтоб мы смогли всё знать и всё уметь,
Тогда спадут небесные покровы
И завопит архангелова медь.

Народ завоюет: «Как же так? До срока?»
И взмолятся «Немного погоды. . .»
Народ, спеша, отыщет лжепророка,
Народ, блюя, создаст себе вождя.

И побежит бессмысленно куда-то,
А вождь наморщит мудрое чело —
И вот восстанут снова брат на брата,
Рассудок на рассудок, зло на зло. . .

И черный конь сверкающей подковой
Ударит о заждавшийся гранит —
И землю всю период ледниковый
В мильонный раз, крихтя, оледенит.

... Доктрины строя, лезя в поднебесье,
Глупцы, глупцы, не увидали мы,
Что стержень жизни — только в равновесье
Добра и зла, сияния и тьмы.

— Поэт! — воскликнул Вашечкин. — Настоящий поэт! Напишите мне автограф. Я — доцент Вашечкин.

На другое утро я нашел листок со стихами у себя в кармане. Не знаю, как он туда попал. Может быть, я отнял его у Вашечкина? Ведь я снова напился.

.

Брат мой! Я вечером выйду из дому и спущусь в преисподнюю, где станции нанизываются на грохотанье составов, в чванную бессмысленность мрамора и бронзы, в угрюмую усталость толпы. Я промчусь под городом, под людскими рожденьями и смертями, под нежностью и развратом, под пестрой мешаниной жизни. Я выйду наверх, неся на сутулых плечах весь этот груз. Я постучусь в твои двери, свалю ношу у порога и спрошу тебя: «Что мне делать со всем этим?» Ты ухмыльнешься лукаво и грустно, как будто тебе ведомы привалы и провалы дороги, победы и побеги в пути. Ты процитируешь мне тоскливых мудрецов, длинными пальцами вылепишь из воздуха чудищ Апокалипсиса и скажешь: «Это будущее». Я не поверю тебе, брат мой. Я не захочу голой душой сунуться в лед и пламень твоих пророчеств. Я скажу тебе: «Что мне делать сегодня, сейчас?» Я вытащу из вороха и положу на осыпанный папиросным пеплом стол Виктора, моего героя. И я спрошу тебя: «Чем ему помочь?» Ты ничего не ответишь,

и мы будем печально смотреть, как он корчится на липкой клеенке, рядом с недоеденным куском хлеба, на краю стола, с которого так легко упасть. Мы будем смотреть на него так, как смотрим в зверинце на обезьян, умиляясь и ужасаясь сходству с нами. И ты спросишь меня: «А много ли тебя в нем?» «Не знаю, — отвечу я, — не знаю. Наверно, много».

Мы допьем вино, оставшееся от позавчерашнего кутежа, обменяемся новостями и анекдотами, и я уйду, провожаемый твоим взглядом, — уйду бродить по улицам и заглядывать в лица прохожим и в освещенные окна первых этажей.

Я доберусь до твоего переуллка, женщина, друг мой, и войду в твой дом. Мы вместе подберем обломки нашего прошлого, и сложим их маленьким костром, и будем греть над ним озябшие ладони. И я не спрошу тебя, что мне делать, потому что в твоих глазах я увижу бегство — от раздумий, от крутизны, от меня. Ты скрываешься в музыку и в цветы, ты прячешься в своего ребенка. И что ты можешь мне посоветовать, как можешь спасти меня и моего Виктора?

И я вернусь домой, и молчаливое сочувствие встретит меня на пороге, и я ткнусь губами в теплые ключицы, и медленно буду воскресать для новых дней и ночей. И я не услышу вопроса «А много ли тебя в нем?», потому что только здесь знают — сколько.

Я снова останусь один на один со своим героем и скажу ему, лежащему в пьяном забытьи:

— Я ничем не могу тебе помочь. Ты обречен, Виктор...

.

Я шел на работу с тяжелой головой, изломанный, измученный. Я заставил себя пойти не потому, что не мог пропустить — у нас с этим довольно свободно — мне нужно, мне необходимо было знать, известно ли что-нибудь на работе. Кажется, мне хотелось, чтобы уже все наконец узнали, чтобы всё для всех стало ясно, чтобы я перестал висеть между небом и землей.

На работе всё было тихо. Сослуживцы подсмеивались над моим помятым видом — я спал, не раздеваясь — и над тем, что я через каждые десять минут пил воду.

Шел срочный заказ: рекламные щиты для Союзпечати, и, как всегда, расцвела обычная бестолковость нашей шарашкиной конторы. Никак не могли распределить задания, терялись тексты, кто-то уже вопил, что ни одного дня в этом сумасшедшем доме не останется.

Сумасшедший дом! Посмотрели бы они, как там на самом деле. Чистота, порядок, телевизор, стенгазета. Я, правда, у буйных не бывал, я приходил с визитами только в тихое отделение. Там все были очень деловитые, очень сосредоточенные. Прямо не психбольница, а читальный зал Ленинской библиотеки. Вот только двери там открывают треугольными ключами, как в железнодорожных вагонах. Идиллия, мирный приют. Заповедник раскрепощенной мысли. . .

У меня кончились папиросы, а курящих в нашей комнате, кроме меня, не было. Я пошел к трафаретчикам.

Дверь в мастерскую была полуоткрыта. Оттуда слышался галдеж:

— Зинка, не трещи!

— Алло, Эдик, кинь тряпку!

- Ребята, новые стихи!
- Левушка, Левушка, когда ты побресешься?
- Вайс утверждает, что критическая точка. . .
- Эй, босяки, тихо! Читай, Леноч!

Они всё бубнят про политику,
Про договоры долдонят,
А у девочки — слезы по личику
И подбородок в ладонях.

Они нажрались доотвала
Доктринами США и Россий
А снег, как ни в чем не бывало,
Декоративно красив.

Как высушить сердце ни целясь,
Но сыплется звезд фейерверк,
И прет по-весеннему Цельсий,
И гонит подснежники вверх!

- Слабо, Леночка, слабо!
- Ну, что за наивное противопостановление!
- Девочки, а мне нравится!
- И мне. . .
- А кто это, собственно, «они»?
- «Они» — это мы, те, кто газеты читает. Так ведь, Леночка?

— Вадим, ты шкаф. Бесчувственный нескороаемый шкаф, в двести килограмм весом. И не разговаривай со мной, пожалуйста.

Я вошел. Все замолчали. Ко мне обернулось с десяток лиц — смущенных, любопытных, вызывающих.

— У меня кончились папиросы, — сказал я. Они молчали, не двигались. Потом Вадим, тот, кого назвали «шка-

фом», положил передо мной на стол пачку сигарет. Я вынул одну, поблагодарил и вышел, плотно закрыв за собой дверь. В комнате сразу зашумели. Не успел я пройти и пяти шагов, как меня догнала Леночка. Я остановился. Она стояла передо мной, испуганная, решительная, и вдруг выпалила, как в воду кинулась:

— И мы просим вас, Виктор Львович, приходите к нам только по делу!

Я молча смотрел на нее. Она всплеснула руками и зашептала:

— Как вы могли, как вы могли. . . Вы, такой. . . И что вы с собой сделали!

Ах, ты, Сонечка Мармеладова! Я захохотал.

— Успокойтесь, Леночка, я не убивал старуху.

— Что? Какую старуху?

Но я уже бежал к выходу. Я вылетел на улицу и бросился к автомату.

— Нина? Нину Васильевну Ряженцеву. Нина, это говорит Виктор Вольский. Погодите, не бросайте трубку! Мне нужен адрес Феликса, Феликса Чернова. Что? Я хочу остановить его, пока не поздно. Что? Нет, я не угрожаю. . . Потом, потом, дайте сперва адрес. Что? Что? Дом 45. А квартира? Ага. Не будьте душой, Нина! А, Господи, какая разница, хам я или нет!

Я шел на людей, на машины, на красные огоньки светофоров. «Пьяный! Хулиган!» — кричали мне вслед. Я шел, как вал, как волна, закипая по дороге. Я нес в себе проклятья и просьбы. Я шел, чтобы обрушиться на него. И я зазря расплескал всё это в чистой прихожей квартиры Черновых, где красивая Ася брезгливо сказал мне:

— Феликса нет дома. Но мы предполагали, что вы придете. Поэтому Феликс поручил мне передать, чтобы вы

выполнили то, о чем он вам говорил. Он свое решение не изменит. И я думаю, что он поступает правильно и справедливо. Такие, как вы, не должны встречаться с людьми. Мне даже странно думать, что какая-нибудь женщина может любить вас. Разве что шлюха. . .

Я шагнул к ней. Я ударил бы ее, если б она вздрогнула, отшатнулась. Но она осталась стоять на месте и по-прежнему с гадливостью смотрела на меня. . .

Дома я лег на диван. «Он поступает правильно и справедливо»! Он поступает правильно и несправедливо! Ведь я же не виноват. Ведь я же безгрешен. Нет на мне вины!

Есть на мне вина. Я не сидел в тюрьме. Я должен был сидеть в тюрьме. Но не так, как Феликс. Не дуриком. Я должен был что-то сделать, за что мог попасть в тюрьму, в лагеря, в рудники, к стенке!

Зазвонил телефон.

— Да, это я. . . Что? Считать, что мы. . . Повторите! Считать, что мы незнакомы? Ладно, буду считать!

Господи, грешен! Виноват в несодеянном, виноват в несовершенном, в равнодушии, в трусости виноват. В том же, в чем и вы! Только я один за всех буду расплачиваться.

Звонок.

— Да, да. Да, конечно. Не беспокойтесь, не приду. Будьте здоровы!

Ладно, черт с вами. Вы меня одолели. Вы — справедливые и честные, вы — храбрецы образца 63-го года. Куда мне от вас деваться? Ладно, я уйду. Я возьму только одного человека, которому я нужен. Это вы мне можете подарить, мне — побежденному — жизнь. . . Мы с нею уедем от вас. Куда-нибудь, где она сможет заниматься музыкой, а я хоть малярить. Нам хватит друг друга на всю жизнь. . .

— Да, это я, мне всё понятно, идите к черту!

Я буду жить с нею далеко, а вы оставайтесь здесь. Будьте честны, будьте справедливы, будьте счастливы, будьте прокляты.

Звонок. . .

Звонок. . .

Звонок. . .

Ирина, позвони же мне! Или хотя бы ты позвони, Господи!

9.

Дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел Игольников. Я приподнялся на локте.

— Витя, можно мне к вам?

— Ко мне нельзя, Володя. Ни вам, никому другому. Я вне закона, вне игры. Я для вас кончился.

— Витя, перестаньте! Да не верю я ничему, поймите. Можете вы мне поверить, что я не верю, что я вам верю. . . тьфу, черт, запутался! Бросьте, не хочу даже говорить об этом.

— Слушайте, Володя, не надо мне примочки прикладывать. Вы же никогда у меня не бывали, чего же вы сейчас примчались? Утешать? Уговаривать?

— Ничего подобного! — окрысился он. — Тоже, нашли утешителя. Я к вам пообщаться пришел. . . Ладно, не буду врать. Вам сейчас скверно, а я к вам хорошо отношусь, ведь вы сами это знаете. Ну, так как — уйти мне или остаться?

— Оставайтесь.

— Ага! А ежели я остаюсь, так извольте принимать меня как положено. Скажите: «Будьте гостем дорогим!»

— Будьте гостем дорогим.

— Не слышу энтузиазма в голосе. Ладно, Бог вам судья, я сам буду хозяйничать. Где у вас штопор? Дайте нож — колбасу нарезать. И какие ни на есть тарелки. Рюмки? Вот они. Ну, поехали!

Мы выпили.

— Витя, дорогой мой, я вам сейчас одну тайну открою. Всё ерунда, не обращайтесь внимания. Всё объяснится, всё войдет в свою колею. С вами не произошло самого страшного. Вас обвинили в измене? Пусть! Мы с вами знаем, что это не так. Я с Черновым из-за вас поругался. Плюньте! Главное — что вам не изменили.

— Как «не изменили»? Все отвернулись, все поверили. . .

— Но вот я же не поверил! Но я — это ладно, это пустяки. Вам не изменила женщина, которую вы любите. Я, брат, всё знаю. И душевно вас поздравляю — Ирина замечательный человек. Мы ведь с ее братом, с Леонидом, друзья были. Он в 44-ом на фронте погиб. Какой пианист был, эх! У них вся семья музыкальная.

— Подождите, Володя. Она — знает?

— Знает. Ну, чего вас затрясло? Вы слушайте: был я вчера у Оксаны Ямпольской — вы ее не знаете, она в издательстве корректором работает, разбитная такая бабенка. Народ там разный собрался. И вдруг является Ирина. Они с Оксаной, оказывается, приятельницы, даже родня какая-то по первым мужьям. Ну, я, понятно, обрадовался, о матери стал расспрашивать. Хорошо. Вечер как вечер. Только смотрю я — Ирина какая-то смутная. «Что ты, говорю, деточка, что с тобой?» А она: «Отказалась я,

говорит, от одной встречи сегодня, а потом обстоятельства переменялись, я стала звонить, а его нет». Я говорю ей: «Пустяки, мол. Погляди, какие парни бравые. Да и я еще хоть куда». Смеется. «Я, говорит, Володичка, замуж собралась. Можно мне по второму кругу замуж выйти?» Только мы собрались выпить с ней по этому поводу, вдруг слышим — ваше имя назвали. Я возьми да и пошути: «Кто это там о моем знакомом мазиле говорит?» И какая-то чертова баба выкладывает всю эту ахиною. Я, признаться, так растерялся, что даже дар речи утратил. И вдруг встает Ирина и говорит. . . В общем, неважно, что именно она говорила. Вложила им по первое число. И я немного добавил. И мы с нею гордо ушли, к великому огорчению хозяйки. Так что салон остался без музыки и литературы. Проводил я ее домой, а сам к Черновым. Там. . . поцапались. Вот и всё. Хорошо, что я вас застал. К вам никак не могли дозвониться эти вот — благородные либералы. Где вы пропадали?

— Я всю неделю у нее жил.

— Голубчик, Витя, Ирочка с вами — и вам всё — трын-трава! Вот когда женщина уходит — тогда дело плохо. Ведь было со мной, было. Поверите ли, Витя, Богу молиться стал. Господи, твержу, что ж это? Господи, помоги! А ведь я безбожник, язычник, я толстяк, я член ССП, чтоб ему провалиться! А тут как за горло взяло — взвыл! И ревность, ревность. Как вспомню этого человека, к которому она уйти хотела, так меня трясет от ненависти, от отвращения. Мне в нем всё противно было: и голос, и фигура, и манеры. Сейчас-то я понимаю — человек как человек, неглупый, занимательный, работник дельный, честный. А тогда! Меня мутило от одного его вида. А уж представить ее с ним вместе, с руками его волосатыми — какая это мука. . . Погляжу на него — и всего передерги-

вает, как будто он не ей, а мне плечи целовал. Какая мука, Витя, какое несчастье. . .

Он замолчал, налил водку в стаканчики. Мы выпили.

— Володя, — сказал я. — Я позвоню ей?

— Не надо. Я сам позже позвоню. . . Да, так и страдал. Уехать хотел. Я тогда в газете работал. Пришел к главному, «Отпусти», мол. «В чем дело?» Бога, говорю, искать пойду. А он: «Ищи, говорит, царство Божие внутри себя, а общественность тебе поможет». Н-да, было — быльем поросло. Я к чему это всё? К тому, что вам, Витя, грех жаловаться, у вас есть стержень, арматура, вы не рассыпетесь.

— Володя, — сказал я, — налейте мне еще, давайте выпьем. Вы удивительно добрый человек, Володя.

— Нет, это не я, это климат такой. Мы, россияне, добрые от безволя, от обреченности, от того, что всё вокруг, всё, что было и есть, — мираж, фантомы. Всё зыбко и шатко. И злые мы от того же.

Как все алкоголики, он быстро пьянел.

Американец или швед — я об обыкновенных людях говорю — без нужды не будет добрым или злым. У них есть конкретное, утилитарное представление о справедливости. Они не швыряются эмоциями. Они экономят себя и время. А мы гордимся сдуру, что не минуты, не сутки, не годы, а целую жизнь, целую эпоху бросаем псу под хвост. Сами знаем, что дураки, а гордимся. Как мы огрызаемся, когда нас иностранцы жалеют! Один мой приятель даже стишки сочинил по этому поводу — его какой-то француз уговаривал, какие мы несчастные. Там такие строчки есть:

А ты, француз, ты непричем,
Не лезь и наших душ не трогай,
Мы двое — жертва с палачом
И мы идем своей дорогой.

Нет, мы с вами там жить не смогли бы. И не потому, что не сумели бы на жизнь заработать, нет! У меня профессий двадцать есть, у вас одна — но интернациональная. Нет, дело не в том. А вот смог бы я в одиннадцать вечера вломиться в дом к не очень близкому человеку и начать выкладывать ему то, что я вам выложил? Нет! Задушевность, Витя, это такая валюта, на которую за границей ни фига не купишь. А мы в России сидим по уши в дерьме и такие задушевные разговоры ведем! Прячемся, как страусы, в многозначительность. . . Кстати, о страусах: вот вы, Витя, художник. На кого похожи страусы?

— Не знаю, — пробормотал я.

— На балерин. У этих дурацких птиц позиция классического балета. И хвосты, как балетные пачки. . . О чем мы говорили? А, ругали Россию! А мы ее всегда ругали, всю дорогу, со времен Владимира Красное Солнышко. Газетчики пишут, что кто, мол, ведет подобные разговорчики, тот кусает руку, которая его кормит. Идиоты! Рука-то — моя! Я хочу побриться, — неожиданно заявил он. Я включил бритву.

— Бритье — это ежедневный обряд отречения от варварства. Петр это понимал, жердь голландская. Он этим бояр крепче, чем стрелецкой казнью, связал. . .

Я уже не слушал его. Тоска по Ирине погнала меня к телефону. Я набрал номер.

— Ее нет дома, — ответила мать. — Нет, не знаю. . . Хорошо, передам. . . До свидания.

Ирка, где же ты? Ты где-то в одном городе со мной, в одной стране, на одной планете. Почему ты не отзываешься? Не надо, не ходи к знакомым, не ломай копыя из-за меня. Приходи сюда, мы выставим этого милого, этого смешного толстяка и останемся одни. Ирка, приходи!

Она пришла. Она пришла через два дня, через два долгих дня, наполненных рвущими душу телефонными звонками и письмами. Я шел сквозь строй. Люди, с которыми я раньше разговаривал, пил, ходил в кино, дружил и ссорился, — эти люди стояли теперь с палками на-готове. О, это были разные палки: молчание, вежливое презрение, осторожный интерес, безразличие. Я блуждал, я тонул в плотном тумане того знания, которое, как им казалось, было у них.

Я застал ее у себя дома.

— Меня твои соседи впустили, — сказала она.

— Ирина? Ты. . . с чем ты пришла?

— Витя, я пришла сказать. . . Я не верю тому, что о тебе говорят.

— Иринка!

— погоди. Я не верю, но я больше не могу. Эти три дня я разговаривала, я отбивалась. У меня не было ни минуты свободной, потому что всё время ко мне приходили, звонили домой, на работу. Удивительно, как много людей знало, что мы с тобой связаны. Витя, Витька, я боролась, как могла!

Она заплакала.

— Витя, я слабая, я плохая! Я не могу. Ведь это навсегда, ведь это на всю жизнь. Это — как клеймо. Витя, я знаю — нечестно оставлять тебя в беде, но у меня нет больше сил.

У нее похудело лицо, обуглился рот, тени легли под глазами. Но это были не те фиолетовые тени, которые я разглаживал по утрам кончиками пальцев.

— Ну, ударь меня, прогони, скажи что-нибудь. . .

— Ничего не надо, Ира. Ты права.

— Витя, когда это кончится. . .

— Это скоро не кончится. Я сейчас зачумленный. Любые жертвы были бы напрасны. Да, конечно, потом, когда-нибудь. . . Иди. Ты всё равно не можешь спасти меня.

Она могла спасти меня.

Она улыбнулась мне от порога жалкой, пристыженной улыбкой. И ушла.

Да здравствует либеральная интеллигенция! Да здравствуют стойкие стражи морали! Да здравствует наша мыслящая молодежь! Вы правы, друзья мои. Ты прав, Феликс, ты прав, Мишка, вы правы, Нина, вы правы, юные мастера трафарета. Ты права, Ирина. И я прав. Всё хорошо, всё правильно. Нас с тобой двое, Виктор Вольский. Один из нас сидит здесь, в этой комнате, и принимает решения; другой из нас сидит там, у Лурье или у Ряженцевых, и с возмущением говорит о первом, о подонке, о стукаче. Стань на его место, Вольский номер один. Попробуй, найди хоть какое-нибудь оправдание для доносчика, для себя. Нет оправданья. Ты обречен, номер первый. Номер второй вынес тебе приговор. И ты, номер второй, судья, тоже осужден. Мы можем теперь соединиться в одно и расплатиться за себя и за всех. За бездействие, за несодеянное. Слышите вы, поклонники Хемингуэя, Пикассо и Прокофьева, я расплачусь не за ту вину, которую вы выдумали, а за ту, что действительно есть, за мою вину и вашу! Вашу! Вашу!

.

— Но, послушайте, вы же знаете, что я не вмешиваюсь в их дела, я только оцениваю их. . . Жалко, разумеется, жалко, но что я могу сделать? Порядок, есть порядок, как говорят эти, как их? . . Да, немцы. А что там, собственно, произошло? . . Так. . . Так. . . Так. . . Ну, а кто же в самом

деле виноват? . . . Нет, я не об этом. Это ясно, что виноваты все и он тоже. Я спрашиваю, чью вину — ну, эту, маленькую, глупую вину! — чью вину ему инкриминируют? . . . А-а. . . Знаете что — конечно, если это можно устроить неофициальным путем, — пусть этот второй, сидевший, тоже поплатится. Как-нибудь объясните, они поймут, они же знают, что и среди пострадавших были провокаторы. . . Ах, предусмотрено? Видите, как хорошо. Это подтверждает мой принцип невмешательства. Я сейчас дал себе волю и стал советовать — и оказалось, что это совершенно излишне. . . Что? Умерший тоже? Это было самоубийство? . . . Хороши, нечего сказать. . . А где он сейчас? . . . У нас? Гм. . . Что? Нет, нет, никак не могу. . . Поймите: всё идет своим чередом. . . И в конце концов, он действительно виноват, не в том, так в другом. . . Ну, что ж, что талантлив, какое это имеет значение. . . Ну, конечно, жаль. . . Очень, очень, очень жаль. . .

.

11.

Я одеваюсь. Я натягиваю отглаженные брюки, скрепляю запонками обшлага рубашки, стягиваю галстук модным узлом. Я — франт, я — шеголь, я иду в концертный зал Чайковского. Пора мне приобщиться к музыке. Сегодня выступает — очереди у концертных касс! — известная американская — нет ли лишнего билетика? — певица-негритянка. Кто принес мне билет? Он лежал на столе, когда я проснулся. Я его не покупал. Кто принес билет? Дверь была заперта. Ладно, наплевать. Я иду на концерт.

Кондуктор, сколько до площади Маяковского? Ага. Что, нет сдачи? Ничего, не беспокойтесь, давайте билет

до Киевского, я пройдусь пешочком на лишние деньги, это даже полезно. Что, шутник я? А чего мне унывать? Кто принес билет? Глупости, я, наверно, сам его купил, мне его дали вместо сдачи в булочной.

Приехали, приехали! Ого, вот так ножки! Ай да ножки! Сука, ты думаешь, мне нужны твои ноги! Нет, это я не вам, я про себя.

Ух, как здорово! Тепло и пахнет пудрой. Да, это двадцать второе место. Что? Какие концерты объявлены? Не знаю, девушка, я здесь случайно, я не поклонник музыки. Нет, я москвич, а вы? Из Вольска? Как забавно, моя фамилия — Вольский, вы еще не слышали? Ничего, услышите. А где это — Вольск? В Саратовской области. Жаль, я никогда там не был. Нет, не побываю, даже если вы меня пригласите. Ну и что ж, что не люблю музыку? Случайно, случайно, мне кто-то прислал билет через запертую дверь. Ну, конечно, шучу. Мои шутки все московские кондуктора знают. А вы угадайте. Нет, не инженер. Не врач. И не учитель. Я работаю в тире, в парке культуры. Нет, не инструктором. Я работаю мишенью. Да-да. Вы понимаете, люди — особенно либералы — любят показать друг другу, какие они меткие, стреляют в меня. А мне за это деньги платят. Серьезно? Пожалуйста, могу серьезно. Я работаю козлом. Ну, что вы, не знаете, что такое козел? С бородой, с рогами — ме-е-е! Девушка, куда вы? Чего вы испугались? Я имел в виду — козлом отпущенья. . .

А, это и есть знаменитая негритянка? А что голос хриплый — это так и надо? Молчу, молчу.

Ты говорил, что у тебя была свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море — в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины — они были написаны потом, пролитым в Магадане и Тай-

жете. Свобода любить женщин — они все были невестами, женами и вдовами тех самых. . . Свобода? «Маргарин по колорийности и усвояемости равен сливочному маслу и почти вдвое дешевле его». Отчего у меня так болит голова? Я же хорошо выпался.

Что это? Антракт? Антракта не будет!

Товарищи!

Да-да, сюда смотрите! Я буду говорить отсюда, а то я боюсь, меня схватят, пока я доберусь до сцены.

Товарищи!

Они продолжают нас ре-пре-ссировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство — это мы. Не пейте вино, не любите женщин — они все вдовы! . .

Погодите, куда вы? Не убегайте! Всё равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!

Товарищи, стойте, может, вы знаете, это очень важно: кто принес билет? Не знаете?

Да зачем же вы так — вы же задушите друг друга в дверях. . . Эх, вы! . .

Кто принес билет? Почему мне никто не отвечает? Сволочи, гады, братцы — кто же мне ответит? Ведь я для вас, подонки. . .

Мать твою, иже еси на небесех, — это Ты принес билет?!

На-днях мне исполнилось тридцать восемь лет. В честь моего дня рождения устроили вечер. Было очень весело: пели, читали стихи, ставили шарады, играли в «испорченный телефон». Один из собравшихся так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я снова рисую. Особенно хорошо мне удаются заголовки и лозунги. Я делаю их акварелью. У меня много красок и карандашей, потому что всем нравится, как я рисую, и все мне дарят. На день рождения мне подарили коробку цветных карандашей. Иван Александрович подарил. Он был в этот день очень занят, но всё-таки зашел поздравить меня с днем рождения.

У нас есть телевизор. Недавно мы смотрели кинофильм в двух сериях — «Русское чудо». Один из смотревших так смеялся, что его пришлось отпаивать валерьянкой.

Я теперь чувствую себя хорошо. Только голова очень болит. И всё время спать хочется.

На-днях ко мне приходила Ирина. Она принесла мне цветы. Она была очень грустная и всё время плакала. А потом пришел Иван Александрович и успокоил ее. Он очень хорошо умеет успокаивать. Он мне после сказал, что Ирина красивая.

Сейчас осень, уже холодно, но топят хорошо, и я не мерзну. Я каждый день, если нет дождя, хожу гулять. Сад замечательный, большой, только слишком яркий: много желтого и красного, от этого болит голова.

Сегодня 28 ноября 1963 года. Зовут меня Виктор Вольский.

Я нашел одну вещь. Я привязал эту вещь изнутри к кальсонам. Там, на кальсонах, есть сзади такие тесемочки, вот к ним я и привязал эту вещь.

Иногда, если не болит голова и на улице нет дождя, мне хочется уйти куда-нибудь далеко-далеко, где не так много людей. Они все очень умные и добрые, но я так устал, так устал, что они всегда со мной. Очень хочется побыть одному.

Теперь, после моей находки, я смогу это сделать. Но я не буду торопиться. Я дождусь зимы, когда будет идти снег, или еще лучше — метель, чтоб меня не могли найти по следам. Я дождусь метельной ночи, надену халат и отопру дверь треугольным ключом, который я нашел и спрятал в кальсонах. Между прочим, этот ключ похож на те ключи, которыми отпирают железнодорожные вагоны.

Я уйду и снова буду один.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Публикуемое здесь письмо в редакцию «Литературной Газеты» было послано сразу же после осуждения Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Послано потому, что на суде не раз поминалось и мое имя.

Как и следовало ожидать, письмо в газете опубликовано не было...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Я не надеюсь на опубликование моего письма на страницах Вашей газеты: свобода высказываний в странах коммунистической демократии не в почете. И все-таки я пишу Вам. Хотя бы уже потому, что в статьях Д. Еремина («Известия», 13 янв. т.г.) и З. Кедринной («Лит. Газета», 22 янв. т.г.) упомянуто и мое имя — как автора предисловий и издателя нескольких книг А. Терца и Н. Аржака.

Начну с того, что эти произведения изданы мною исключительно из-за их литературной ценности. И вся редакционно-издательская деятельность нашей неболь-

шой группы литераторов и литературоведов русского Зарубежья преследует только литературные цели. Имена Достоевского, Бориса Зайцева, Ключева, Мандельштама, О. Форш, Заболоцкого и ряд других лучше всего говорят об этом. Нами издаются те авторы, которые не находят места в советской издательской практике или представлены в советских изданиях односторонне, необъективно. Нашу деятельность можно расценивать как угодно, но никак нельзя назвать тенденциозной (мы, например, в угоду нашим политическим симпатиям и антипатиям отнюдь не исключаем из наших изданий такие произведения, как воспевающие Ленина стихи Ключева или стихи Пастернака и Заболоцкого, посвященные Сталину).

Сейчас, когда уже свершилось очередное издевательство над правосудием, когда уже осуждены А. Синявский и Ю. Даниэль, особенно тяжким преступлением видятся такие статьи, как пасквили Д. Еремина и З. Кедринной. В государствах, в которых право не является покорной служанкой самодержавной партии, суд, как правило, отказывается от дальнейшего рассмотрения дела, если в прессе до суда публикуются подобные статьи. Такие выступления в печати в нетоталитарных государствах рассматриваются как абсолютно недопустимое давление на совесть присяжных заседателей.

В статьях Д. Еремина и З. Кедринной сразу же бросается в глаза совершенная их бессовестность. В частности, цитируя высказывания героев произведений Аржака и Терца, Еремин и Кедринна бесстыдно приписывают эти высказывания самим авторам. Так, например, слова графомана, от имени которого ведется рассказ «Графоманы» (о ненависти этого графомана к Чехову), приписываются самому Терцу. И такая же шулерская передержка во всех цитатах Еремина и Кедринной. Идя по этому пути, можно легко приписать Ленину антисоветские высказывания — Ленин нередко цитировал своих противников.

А. Терц и Н. Аржак — талантливые мастера гротеска. Стремясь к предельной выразительности, художники слова, кисти, резца, а особенно сатирики, постоянно прибегают к гиперболизму, к гротеску, к изображению уродств жизни. Но ни в досоветской России, несмотря на ее крутую (как тогда казалось) цензуру, ни в странах некоммунистического Запада никому и в голову не пришло бы привлекать к ответственности и травить в печати сатириков за их гротескное изображение действительности. А. Терц и Н. Аржак и на Западе писали бы, конечно, в той же манере трагедо-сатирического гротеска, ибо, как ни современны они по форме и содержанию, их влечет больше к изображению исконного, вечного, общеловеческого, чем к обличению сегодняшнего и местного. Не пришло бы никому в голову и осуждать писателей за опубликование ими их произведений не на родине. Только в гитлеровской Германии и в странах коммунистического тоталитаризма судят и казнят неблагонамеренных литераторов.

Синявского осудили на семь, а Даниэля на пять лет каторжных работ, именуемых исправительно-трудовыми колониями. Осудили за то, что они писали сатирические произведения. Они не призывали ни к борьбе с существующим режимом, ни к его революционному свержению. Их не только судил так называемый советский суд — их уже заранее осудили улюлюкающие и завывающие под взмах дирижерской палочки ЦК рептильные литераторы и подхалимствующие представители пресловутой советской общественности. Такого позора не знала царская Россия, отнюдь не являвшаяся идеальной страной свободы и народоправства. Вспомним хотя бы Горького. Он не только постоянно призывал — в литературных произведениях и в общественных выступлениях — к революционному свержению тогдашнего режима; он написал и распространял в 1901 году листовку, призывавшую к

свержению самодержавия; он помогал в устройстве подпольной революционной типографии, собирал деньги на противоправительственные начинания революционных партий. И что же? За все это его просто административно выслали — и притом на короткое время — из Нижнего Новгорода. Не запретили ему публиковать его произведения, не запретили участвовать во всей тогдашней прессе, не запретили театрам ставить его пьесы. И все-таки Ленин яростно возмущался: «Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло... в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города»... (Соч., т. 5, 1946, стр. 295). Не было, кажется, органа печати, кроме ничтожного количества жалких черносотенных листков, в котором не клеймили бы «царских сатрапов» за высылку Горького. Царский строй пал. Его свергли --- и должны были свергнуть — во имя социальной справедливости, во имя полного раскрепощения человека, во имя свободы. Но в Октябре 1917 года власть захватили такие самодержцы, по сравнению с которыми царское единодержавие кажется эпохой необузданной свободы... Поэт-свободолюбец, поэт-революционер писал тогда:

Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму...

И вот теперь, после криков и клятв о том, что сталинские расправы никогда больше не повторятся, что к недавнему прошлому нет возврата, — снова комедия суда — и каторжные приговоры Синявскому и Даниэлю за их сатирические рассказы...

В том-то и беда советской литературной управы благочиния, что она хорошо понимает: великая литература всегда и везде была оппозиционной, по меньшей мере — критически настроенной по отношению к существующим формам жизни. Литература же, полезная и желан-

ная с точки зрения властей предержажших, классово и партийно выдержанная, всегда отдает тухлятинкой и до гениальности бездарна — будь то Фаддей Булгарин или Константин Симонов, Н. Греч или В. Кочетов. Понимать-то управа благочиния понимает, но сделать ничего не может: когда годы революционного взлета давно позади, удобнее и полезнее литературные манеры и традиции охранителей и одописцев, а не бунтарей и критиканов. Ведь главное для режима тоталитарного мещанства не талант и ум, а благонравие и послушание. И все-таки стыдно уважающему себя государству гноить на каторге Ювеналов и поддерживать Ереминых.

Конечно, идейные противники режима — и дома, и за рубежом — всегда будут цитировать и по-своему толковать таких писателей, как Терц и Аржак. Делал это и я в своих предисловиях к их произведениям. Но ведь это отнюдь не доказательство противогосударственной деятельности Терца и Аржака. В целях идеологической борьбы с коммунизмом можно ведь использовать цитаты даже из такого верноподданнейшего писателя, как Михаил Шолохов. Коммунистическая же печать переосмысливает решительно все, что попадает ей под руку, вплоть до отдельных высказываний Папы Римского, препарируемых в направлении обличения гниющего, мол, на корню империалистического Запада. Литература — не таблица умножения и не катехизис, ее всякий читает по-своему, и осуждать реку за то, что в ней кто-то утопился, могут только оголтелые догматики-ортодоксы.

Разве не возврат к худшим временам сталинщины и позорная, грубо поставленная инсценировка, именуемая голосом советской общественности: люди, не читавшие ни строчки Аржака и Терца, обращались с письмами в редакции газет, требуя суровых кар писателям за их произведения, авторам писем совсем неизвестные... Эти ретивые «общественники» вовсе при этом не махровые идио-

ты: они — подхалимы, но они такие же жертвы режима, как и осужденные на каторгу писатели. Писателей режим может искалечить физически, авторов подлых подхалимских писем он искалечил нравственно.

И уже совсем гнусно было помещать погромные статьи о писателях, которым, если бы даже они не были арестованы, не дано права отвечать своим обвинителям в печати. Не могут ответить им они и сейчас. Если из прежнего, дореволюционного мертвого дома все-таки раздавались голоса протеста и возмущения, то из «исправительно-трудовых колоний» не проникает на волю ничего: эпоха сейчас не самодержавная, а прогрессивная...

Говорят, лет триста-четырееста назад палач, срубивший головы, помнится, дюжине благородных дворян, сам получал дворянство. Сколько благородных писателей должны загубить Еремин и Кедрина, чтобы быть принятыми в круг советских патрициев? Или они уже выполнили свою норму?

Нестерпимо стыдно видеть, как глубоко погрязла в лицемерии, мракобесии, подхалимстве и доноситељстве еще так недавно честнейшая и благороднейшая русская литература. Или снимите с вывески слово «Литературная» — или откажитесь пожимать руки Ереминым, Кедриным и им подобным. Иного выхода нет. Для честных людей, по крайней мере.

Борис Филиппов

Все-таки посылаю редакции — одновременно с этим письмом — наши издания: может статься, они каким-то чудом до Вас дойдут...

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-------------|
| Борис Филиппов: | <i>Стр.</i> |
| Свобода подневольного | 3 |
| Говорит Москва | 11 |
| Руки | 65 |
| Человек из МИНАП'а | 71 |
| Искушение | 97 |
| Послесловие: | |
| Письмо в редакцию «Литературной Газеты» | |
| Б. Филиппова | 161 |

